

Милый друг, я умираю
Оттого, что был я честен,
Но зато родному краю
Верно буду я известен¹⁵.

«Родным краем» здесь называлась не земля Карамзина, Жуковского, Державина, Пушкина, не земля Аксаковых и Погодиных,— но...

«Наш Басков переулочек, где стоит “Русское богатство”¹⁶.— И вся Россия, мало-помалу обращающаяся в читателей “Русского богатства” и выкидывающая из себя пустяковых и никому не нужных Карамзина, Державина, Аксаковых и Хомяковых».

Все-таки — Я.

И единственное — МЫ.

<...>



Г. И. ЧУЛКОВ

Последнее слово Достоевского о Белинском

Литературные имена и духовные силы Достоевского и Белинского так несоизмеримы, что, сопоставляя их, приходится объяснять, почему собственно понадобилось обсуждать именно эту тему. В самом деле, стоит ли заниматься ею, особенно теперь, когда гений Достоевского занял подобающее ему место в культуре всемирной? Этот на первый взгляд весьма основательный вопрос падает, однако, если мы припомним, что сам Достоевский придавал Белинскому значение немалое. Очевидно, что в этом человеке было нечто, занимавшее мысль и воображение художника.

Мнения Достоевского о Белинском противоречивы и как будто пристрастны, но то постоянно, с каким Достоевский возвращается в течение всей своей жизни к личности Белинского, воистину удивительно.

Юношеские письма Достоевского к брату пестрят именем Белинского, и впоследствии мы везде и всюду находим у него упоминания о человеке, его поразившем.

В 1848 году, когда Белинского уже не было в живых, Достоевский читает среди петрашевцев его знаменитое «письмо к Гоголю», последствием чего был его арест, эшафот и каторга. обстоятельные показания, данные Достоевским следственной комиссии, все наполнены отзывами о Белинском. Стараясь отклонить от себя обвинение в идейной солидарности с Белинским, он считает, однако, своим долгом не хулить памяти покойного: «Это был превосходный человек как человек», — пишет Достоевский. В романе «Униженные и оскорбленные» в 1861 году он с трогательным сочувствием вспоминает о Белинском¹. Об этом сочувствии свидетельствует также его письмо к вдове покойного Белинского в 1863 году².

За два года до того в журнале «Время» в статье «Г-бов и вопрос об искусстве»³ Достоевский говорит о «блестящей» критической деятельности Белинского, и даже в объявлении на этот журнал⁴ мы находим лестные для него строки.

В «Дневнике писателя» Достоевский неоднократно говорит о Белинском то сочувственно, то иронически, то гневно. Мы видим, как Достоевский колеблется в оценке этого характера и личности. По поводу мысли Аполлона Григорьева, что Белинский, живи он дольше, стал бы непременно славянофилом, Достоевский высказывался не раз — и притом явно себе противоречил. Так, в объявлении на журнал «Время» 1862 года Достоевский писал: «Если б Белинский прожил еще год, он бы сделался славянофилом, т. е. попал бы из огня в полымя; ему ничего не оставалось более; да сверх того, он не боялся в развитии своей мысли никакого полымя. Слишком уж много любил человек». В том же смысле Достоевский высказывался в «Дн. пис.» за 1876 год в статье «Мой парадокс»: «Но если славянофилов спасало тогда их русское чутье, то чутье это было и в Белинском, и даже так, что славянофилы могли бы счесть его своим лучшим другом. Повторяю, тут было великое недоразумение с обеих сторон. Недаром сказал Аполлон Григорьев, тоже говоривший иногда довольно чуткие вещи, что если б Белинский прожил более, то наверно бы примкнул к славянофилам. В этой фразе была мысль»⁵.

А между тем 11/23 декабря 1868 года Достоевский писал А. Н. Майкову совершенно иное: «Никогда не поверю словам покойного Аполлона Григорьева, что Белинский кончил бы славянофильством. Не Белинскому кончать было этим. Это было только... и больше ничего. Большой поэт в свое время; но развиваться далее не мог. Он кончил бы тем, что состоял бы у какой-нибудь здешней М-м Геп адъютантом по женскому вопросу на митингах и разучился бы говорить по-русски, не выучившись все-таки по-немецки»⁶.

Буквально то же самое писал Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 год: «О, напрасно писали потом, что Белинский, если б прожил дольше, примкнул бы к славянофильству. Никогда бы не кончил он славянофильством. Белинский, может быть, кончил бы эмиграцией, если бы прожил дольше и если бы удалось ему эмигрировать, и скитался бы теперь маленьким и восторженным старичком с прежнею теплою верою, не допускающей ни малейших сомнений, где-нибудь по конгрессам Германии и Швейцарии, или примкнул бы адъютантом к какой-нибудь немецкой м-м Геп, на побегушках по какому-нибудь женскому вопросу»⁷.

Такие противоречия в оценках Достоевского неслучайны. Он судил Белинского в разных планах — то как частного человека, то как характер, то как «явление русской жизни», то как религиозный тип... Вот почему у Достоевского можно найти все оттенки сочувствия и ненависти к этому человеку. Достоевский никогда не лгал. Он всегда был искренен. Он только умел видеть вещи и души в разных аспектах. Вот почему он то пишет в 1871 году свое известное страстное письмо к Страхову, предавая Белинского анафеме, то, спустя пять лет, вспоминает о своей встрече с Белинским с восхищением и любовью.

Эти сочувственные страницы, написанные в 1877 году, оказывается, не последнее, однако, суждение Достоевского о Белинском. Последнее слово художника о личности Белинского относится к 1879 году. Его мы находим в романе «Братья Карамазовы». Здесь Достоевский снова возвращается к той теме, которая занимает его в «Дневнике писателя» за 1873 год в статье «Старые люди», в знаменитом письме к Страхову, к той теме, которой, между прочим, по замыслу Достоевского, касается в «Бесах» Степан Трофимович: «Я помню писателя Д. (Достоевского), тогда еще почти юношу — рассказывает Верховенский. — Белинский обращал его в атеизм и на возражения Д., защищавшего Христа, ругал Христа».

Вот в этом факте и заключается, как мы увидим, сущность внутреннего конфликта между Достоевским и Белинским. Об этом как раз последнее слово Достоевского.

I

Небольшой этюд, который я решаю предложить вниманию читателей, представляет собою анализ одного диалогического фрагмента из романа «Братья Карамазовы».

Занимающий нас диалог находится в десятой книге четвертой части романа — в главе «Мальчики». Разговаривает Алеша Карамазов

и Коля Красоткин. Я позволю себе напомнить фрагменты этого диалога.

— Я давно научился уважать в вас редкое существо, — пробормотал опять Коля, сбиваясь и пугаясь. — Я слышал, вы мистик и были в монастыре. Я знаю, что вы мистик, но... это меня не остановило. Прикосновение к действительности вас излечит... С натурами, как вы, не бывает иначе.

— Что вы называете мистиком? От чего излечит? — удивился немного Алеша.

— Ну, там Бог и прочее.

— Как, да разве вы в Бога не веруете?

— Напротив, я ничего не имею против Бога. Конечно, Бог есть только гипотеза... но... я признаю, что он нужен, для порядка... для мирового порядка и так далее... и если б его не было, то надо бы его выдумать, — прибавил Коля, начиная краснеть...

— Я, признаюсь, терпеть не могу вступать во все эти препирания, — отрезал он, — можно ведь и не веруя в Бога любить человечество, как вы думаете? Вольтер же не веровал в Бога, а любил человечество...

— Вольтер в Бога верил, но, кажется, мало, и, кажется, мало любил и человечество, — тихо, сдержанно и совершенно естественно произнес Алеша, как бы разговаривая с себе равным по летам или даже со старшим летами человеком»...

— А вы разве читали Вольтера? — заключил Алеша.

— Нет, не то чтобы читал... Я, впрочем, К а н д и д а читал в русском переводе... в старом, уродливом переводе смешном...

— И поняли?

— О, да, все... то есть... почему же вы думаете, что я бы не понял? Там, конечно, много сальностей... Я, конечно, в состоянии понять, что это роман философский, и написан, чтобы провести идею... — запутался уже совсем Коля. — Я социалист, Карамазов, я неисправимый социалист, — вдруг оборвал он ни с того, ни с сего.

— Социалист? — засмеялся Алеша, — да когда это вы успели? Ведь, вам еще только тринадцать лет, кажется?

Колю скрючило.

— Во-первых, не тринадцать, а четырнадцать, через две недели четырнадцать, — так и вспыхнул он, — а во-вторых, совершенно не понимаю, к чему тут мои лета. Дело в том, каковы мои убеждения, а не который мне год, не правда ли?

— Когда вам будет больше лет, то вы сами увидите, какое значение имеет на убеждение возраст. Мне показалось тоже, что вы не свои слова говорите, — скромно и спокойно ответил Алеша, но Коля горячо его прервал.

— Помилуйте, вы хотите послушания и мистицизма. Согласитесь в том, что, напротив, христианская вера послужила лишь богатым и знатым, чтобы держать в рабстве низший класс, не правда ли?

— Ах, я знаю, где вы это прочли, и вас непременно кто-нибудь научил! — воскликнул Алеша.

— Помилуйте, зачем же непременно прочел? И никто ровно не научил». Я и сам могу... И если хотите, я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи он в наше время, он бы прямо примкнул к революционерам и, может быть, играл бы видную роль... Это даже непременно.

— Ну где, ну где вы этого нахватались! С каким это дураком вы связались? — воскликнул Алеша...

Со стороны стиля фрагмент диалога представляет собою форму, типичную для Достоевского в последний период его творчества. Тот несколько торопливый и нервный язык, которым говорят у Достоевского герои в его юношеских произведениях, постепенно переходит у художника в язык более сосредоточенный, не утрачивая, однако, своей внутренней напряженности. Если сравнить, например, истерический диалог «Двойника» с языком «Преступления и наказания» и, наконец, с позднейшими романами, это становится очевидным. В «Братьях Карамазовых», романе совершеннейшем в художественном отношении, диалог достигает уже полной выразительности.

Почти всегда в диалоге Достоевского присутствует момент субъективный, нечто от автора. Если у Толстого, Тургенева, Лескова и многих других диалог, за редким исключением, объективен, т. е. автор старается не привносить в него своей оценки, предоставляя читателю разбираться в смысле и значении той или другой беседы, Достоевский, напротив, постоянно сам как бы вмешивается в диалог, слышишь его авторский голос, то сочувствующий, то гневный, то насмешливый. В данном случае мы имеем дело с насмешливым освещением диалога. Достоевскому не чужды все степени насмешливости — от иронии до сарказма.

В диалоге Коли Красоткина с Алешей налицо случай иронии. На первый взгляд сарказма как будто нет. Он был бы неуместен по отношению к тринадцатилетнему мальчугану. Тем не менее приемы добродушного юмора таят в себе второй план диалога — не сразу заметный. В этом втором плане ирония переходит в сарказм. Понять саркастический смысл диалога можно, переходя к анализу третьего момента, характерного для этого разговора Алеша с самонадеянным мальчиком. Этот третий момент *пародийность* диалога.

Пародийность может быть стилистическая, психологическая и идеологическая. В данном случае мы имеем дело с идеологической пародией и отчасти с пародией психологической. В диалоге, о котором у нас идет речь, пародируются те общие места (*loci topici*), которые были характерны для фразеологии тогдашних вольнодумцев. Отсюда естественен у Достоевского переход от добродушной иронии к сарказму. Но этого мало — в дальнейшем я постараюсь показать, что пародийность этого диалога приурочивается к определенному лицу, причем пародируется не само лицо, как Грановский или Тургенев в «Бесах», но лишь некоторые высказывания этого лица и психология, соответствующая этим высказываниям.

Что касается композиции самого диалога в главе «Раннее развитие», то она определяется как расшифровка предыдущих глав. Вся десятая книга романа «Мальчики» подготавливает эффект анализируемого диалогического фрагмента. Центром десятой книги является Коля Красоткин. В главе «Раннее развитие» нам в сущности предлагается не диалог, а монолог — монолог Коли. Реплики Алеши играют лишь вспомогательную роль, поддерживая и вызывая торопливые признания мальчика.

В интересующем нас отрезке диалога имеются следующие темы: во-первых, мистика («Ну, там Бог и прочее...»); во-вторых, любовь к человечеству («Вольтер же не веровал в Бога, а любил человечество»); в-третьих, Христос и христианство («И если хотите, я не против Христа...»).

На двух-трех страницах диалога сосредоточены главнейшие темы, неизменно занимавшие Достоевского. Десятая книга неслучайно названа Достоевским «Мальчики». Если мы припомним тот смысл, какой Достоевский влагает в излюбленный им термин «русские мальчики», нам нетрудно будет разгадать задание этих глав. В том же романе Иван Карамазов говорит Алеше: «Я ведь и сам точь-в-точь такой же маленький мальчик, как и ты...» «Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют...» «...О чем они будут рассуждать...» «О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие. А которые в Бога не веруют, ну, те о социализме, и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все тот же вопрос, только с другого конца. И множество, множество самых оригинальных мальчиков только и делают, что о вековых вопросах говорят у нас в наше время...»

Психологическая условность «мальчишеской» темы в десятой книге романа находит себе новую художественную транскрипцию. Здесь уже фигурируют настоящие мальчики. И эта настоящая мальчишеская

жизнь является отчасти карикатурой, отчасти пародией на мальчишескую психологию взрослых.

Какое же лицо имел в виду Достоевский, создавая этот пародийный диалог? Пародируя Гоголя в лице Фомы Опискина, Достоевский дает косвенный намек на пародию, влагая в уста своего героя упоминание описателя: «Гоголь — писатель легкомысленный, но у которого бывают зернистые мысли...» * Так и в данном случае у нас есть косвенное указание самого Достоевского на пародию:

— Ну где, ну где вы этого нахватались? С каким это дураком вы связались? — воскликнул Алеша.

— Помилуйте, правды не скроешь. Я, конечно, по одному случаю, часто говорю с господином Ракиным, но... *Это еще старик Белинский то же, говорят, говорил.*

— Белинский? Не помню. Он этого нигде не написал.

— *Если не написал, то, говорят, говорил.* Я это слышал от одного... впрочем, черт...

— А Белинского вы читали?

— Видите ли... нет... я не совсем читал, но место о Татьяне, зачем она не пошла с Онегиным, я читал...

В этих фразах ключ к пародии. Очевидно, что пародируется не само лицо, а те психологические мотивы и мысли, которые высказываются этим лицом, и, с другой стороны, дается объяснение источника пародии. Из опубликованных в то время произведений Белинского нельзя было извлечь мыслей, аналогичных мыслям Коли Красоткина. «Он этого нигде не написал...» Однако упоминание о Белинском не случайно. Значит, источник пародии надо искать в каком-то документе, тогда еще неизданном, но хорошо известном самому Достоевскому. Таким документом является знаменитое «Письмо Белинского к Гоголю»: в нем — три темы, положенные в основу нами разбираемого диалогического фрагмента; мистика, вера в человечество и, наконец, личность Христа.

Укоряя Гоголя в мистицизме, Белинский пишет: «Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности...»

В духе этого рассуждения Коля Красоткин спешит сделать Алеше свои признания:

— Я слышал, вы мистик и были в монастыре. Я знаю, что вы мистик, но... это меня не остановило. Прикосновение к действительности вас излечит... С натурами, как вы, не бывает иначе.

* Ср. Ю. Тынянов. Достоевский и Гоголь. Изд. «Опояз». 1921. Стр. 46.

— Что вы называете мистиком? От чего излечит? — удивился Алеша.

— Ну, там Бог и прочее.

— Как, да разве вы в Бога не веруете?

«И вот почему, — пишет Белинский, — какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки погасивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, более сын Христа, плоть от плоти его и кость от кости его, нежели все наши попы, архиереи, митрополиты, патриархи. Неужели вы этого не знаете? Ведь это теперь не новость для всякого гимназиста...»

Достоевский сейчас же пользуется случаем и влагает в уста гимназиста эти самые мысли о Вольтере:

— Можно ведь и не веруя в Бога любить человечество, как вы думаете? Вольтер же не веровал в Бога, а любил человечество.

«Церковь же явилась иерархией, — пишет Белинский, — стало быть, поборницей неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницей братства между людьми — чем продолжает быть и до сих пор».

И Коля Красоткин повторяет за Белинским то же самое:

— Помилуйте, вы хотите послушания и мистицизма. Согласитесь в том, что, например, христианская вера послужила лишь богатым и знатным, чтобы держать в рабстве низший класс, не правда ли?

Наконец, Белинский пишет: «Проводник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов, что вы делаете...» «Что вы подобное учение опираете на православную церковь, это я еще понимаю: она всегда была опорой кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем вы примешали сюда! Что вы нашли общего между ним и какой-нибудь, а тем более православную церковь».

И гимназист Красоткин такого ж мнения, как Белинский. Христос — по его представлению — ничего общего не имеет с церковью.

«И если хотите, — признается Коля, — я не против Христа. Это была вполне гуманная личность, и живи он в наше время, он бы прямо примкнул к революционерам и, может быть, играл бы видную роль... Это даже непременно...»

Этой мысли, по крайней мере так прямо выраженной, в письме Белинского к Гоголю нет. Но зато она целиком взята из действительного разговора Белинского с Достоевским в 1845 году. В «Дневнике писателя» за 1873 год Достоевский воспроизвел тогдашний диалог свой с Белинским.

Белинский говорил:

«...Поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так

и ступевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.

— Ну, не-е-ет! — подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а он расхаживал по комнате взад и вперед.) — Ну, нет: если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал бы во главе его...

— Ну-да, ну-да, — вдруг с удивительною поспешностью согласился Белинский, — он бы именно примкнул к социалистами и пошел за ними»⁸.

Коля Красоткин спешит отрекомендоваться Алеше:

— Я социалист, Карамазов, я неисправимый социалист.

И про Белинского Достоевский пишет в «Дневнике писателя»: «Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мною с атеизма»⁹.

Итак, в основе анализируемого диалога лежит некоторая идеологическая и отчасти психологическая пародийность. Поводом для этой пародийности послужило письмо Белинского к Гоголю и личные воспоминания о Белинском самого Достоевского. Во избежание недоумений приходится подчеркнуть, что ни биографической, ни стилистической пародии в указанном диалоге нет, по крайней мере в том смысле, как это есть, например, в пародии на Тургенева в «Бесах», однако и в нашем случае совпадения любопытны и — я полагаю — не случайны. Так, в последние годы Белинский, как известно, придавал чрезвычайное значение естествоведению, — и Коля Красоткин заявляет, что он «всемирную историю не весьма уважает...» «Изучение ряда глупостей человеческих и только. *Я уважаю одну математику и естественные...*» Белинский, как известно, худо знал иностранные языки, и Достоевский, по-видимому, не случайно заставляет Алешу спросить Колю: «А вы разве читали Вольтера?» На что Коля отвечает: «Нет, не то, чтобы читал... Я, впрочем, Кандида читал в русском переводе...»

Наконец, последним моментом при определении пародийности диалога приходится признать тот общий самонадеянно-торопливый азартный тон его, который в известной мере характерен и для прославленного письма Белинского, что дало повод Гоголю написать в своем, неотправленном, впрочем, адресату ответе: «Но какое невежество! Как дерзнуть с таким малым запасом сведений толковать о таких великих явлениях!» И далее: «Опомнитесь, куда вы зашли! Вольтера называете оказавшим услугу христианству и говорите, что это известно всякому ученику гимназии. Да я, когда был еще в гимназии, я и тогда не восхищался Вольтером. У меня и тогда было настолько ума, чтобы видеть в Вольтере ловкого остроумца, но далеко

не глубокого человека...» И, наконец,— «Нельзя, получив легкое журнальное образование, судить о таких предметах...»¹⁰

Здесь уместно вспомнить не совсем безразличную болтовню Степана Трофимыча: «В сорок седьмом году,— рассказывал он,— Белинский, будучи за границей, послал к Гоголю известное письмо, и в нем горячо укорял того, что тот верует “в какого-то Бога”. *Entre nous soit dit*, ничего не могу вообразить себе комичнее того мгновения, когда Гоголь (тогдашний Гоголь!) прочел это выражение и... все письмо...»¹¹

II

Фрагмент диалога из романа «Братья Карамазовы», нами рассмотренный, до сих пор не привлекал к себе внимания исследователей. Впрочем, один литератор в своей книге «Белинский в оценке его современников», сопоставляет Колю Красоткина с мнением Белинского*. К сожалению, исследователь не заметил ни пародийности этой фразы, ни сарказма Достоевского. Он все принял за «чистую монету» и даже порадовался за Достоевского и Белинского, усмотрев в этой цитате свидетельство писателя в пользу своего идейного противника. Прежде, мол, Достоевский писал о том, что Белинский «ругал ему Христа», а теперь, под конец жизни, должен был признать, что критик был ко Христу благосклонен, называя его «гуманной личностью». Когда дело идет о «христианском мифе» и об отношении к нему того или иного художника, мы обязаны в качестве исследователей считаться с тем фактом, что для Гоголя, Достоевского и многих других христианский миф был не фикцией, а живою реальностью. Так и в данном случае мы, конечно, не в состоянии будем дать правильное освещение рассмотренному нами диалогическому фрагменту, как бы тонко и детально ни описывали мы композицию этого отрывка, его стиль, диалектические особенности и проч., и наше описание останется мертвым материалом и не приобретет никакой научной ценности, пока мы не найдем в приемах писателя, напр<имер>, в приеме пародийности, того внутреннего мотива, которым определяется единство художественного произведения и которое предопределяется известным мифом.

Итак, постараемся открыть эти внутренние мотивы, понудившие Достоевского и на этот раз прибегнуть к пародийному приему и к приему сарказма. Сарказм направлен против Белинского.

* С. Ашевский. «Белинский в оценке его современников», СПб., 1911. Его же статья в «Мире Божиим». 1904, № 1, стр. 197–239.

У Достоевского, как известно, первая встреча с Белинским произошла в мае месяце 1845 года¹². Затем следует ряд свиданий. Осенью Белинский еще дружески относится к Достоевскому. Весною 1846 года Достоевский готовил для альманаха Белинского две повести «Сбритые бакенбарды» и «Повесть об уничтоженных канцеляриях», — до нас не дошедшие. В это время Белинский выехал из Петербурга в Москву и на юг. Встреча с Достоевским в октябре была, по-видимому, не очень дружеская, хотя отношения между писателями и еще не прерваны. Достоевский писал тогда: «Это такой слабый человек, что даже в литературных мнениях у него пять пятниц на неделе» (Биогр., 58)¹³.

В начале 1847 года, по словам Достоевского в его показаниях Следственной комиссии, у него произошла с Белинским размолвка «из-за идей в литературе и о направлении литературы», перешедшая скоро в «формальную ссору» (Петраш., 90). В мае 1847 года Белинский уехал за границу. 3 июля написано им знаменитое «Письмо к Гоголю». В сентябре он вернулся в Россию. Его отношения к Достоевскому к этому времени вполне определились. В письме к П. В. Анненкову он сообщает, что повесть «Хозяйка» — «пошла, глупа и бездарна». В феврале 1848 года в письме к тому же корреспонденту он пишет: «Надулись же мы *, друг мой, с Достоевским гением»¹⁴. 28 мая 1848 года Белинский умер.

Итак, знакомство Достоевского с Белинским продолжалось всего только два года с большими перерывами. Белинский, как мы знаем, за время своей литературной деятельности несколько раз менял свои идейные позиции. Какой же был Белинский в эти годы 1845 и 1846? Ему тогда было лет тридцать пять. Он уже пережил «шеллингианство», «фихтеанство», «гегелианство» и, наконец, увлекся французами-рационалистами и социальными утопистами. Вся эта идейная эволюция сопровождалась у Белинского большими сердечными и умственными потрясениями, но от этого не менялась сущность его духовной природы.

Очень легко, разумеется, доказать — как это сделал один критик-импрессионист, что Белинский был просто необразованный человек, что его кустарная философия и его сведения о Шеллинге, Фихте, Гегеле, полученные из вторых рук, были поверхностны, а иногда и вовсе неточны, что даже вкус его был весьма сомнителен — ведь он однажды объявил, что Данте не поэт и вторую часть «Фауста» с легким сердцем называл галиматшей... Но дело, конечно, не в этом. Можно не штудировать прилежно немецких

* По другому чтению — «Вы».

метафизиков, ошибаться в оценках величайших произведений искусства — и все же быть значительным человеком. Белинский был значителен.

Он был значителен, потому что в нем никогда не умирала необычайно страстная жажда истины. Вопрос о жизни и смерти, о смысле бытия и особенно нравственная проблема — все это для него не было теорией, идеологией: все это он переживал как тему его собственной жизни. Белинский был значителен. И дело не в том, что знания его были поверхностны, а в том, что у него не было того внутреннего опыта, который следовало бы назвать *исторической или мифологической памятью*.

Белинский как бы покинул «отчий дом» истории и медлил в него вернуться. С утратой «исторической памяти» у человека является потребность в новом «доме», в новом крове. Мечта об этом доме возникает обычно, как некая утопия. Как раз ко времени знакомства Белинского с Достоевским наше общество жадно зачитывалось французами-утопистами.

«Эти двигатели человечества, — сообщает Достоевский в “Дневнике” за 1873 год, — были тогда все французы: прежде всех Жорж Занд, теперь совершенно забытый Кабет, Пьер Леру и Прудон, тогда еще только начинавший свою деятельность. Этих четырех, сколько припомню, всего более уважал тогда Белинский»¹⁵.

Социалистами-утопистами увлекся, как известно, и Достоевский, но Белинский увлекся ими иначе. Белинский был безоружен. Он ничего не мог противопоставить социальной утопии и, приняв ее без критики, немедленно сделался адептом и пропагандистом утопических идей.

Мы знаем, что противопоставил этим идеям Достоевский, но у Белинского не было за душою ничего, кроме совершенно искренней и страстной жажды во что бы то ни стало благополучно устроить человечество, которое — по его представлению — напрасно прожило тысячелетия, пока не явились Жорж Занд со своими романами и Этьен Кабе со своим «Путешествием в Икарию». История человечества казалась Белинскому каким-то недоразумением. Он мог с совершенной убежденностью сказать, как Коля Красоткин, — «всемирную историю не весьма уважаю». И спроси Белинского какой-нибудь простец, как Колю: «Это всемирную-то историю-с?» — вероятно, Белинский на этот простодушно-испуганный вопрос ответил бы так же, как гимназист: «Да, всемирную историю. Изучение ряда глупостей человеческих, и только»... («Бр. Кар.», стр. 67).

Как известно, в своей философско-исторической концепции Белинский не был самостоятелен. На него влияли то Станкевич,

то Бакунин, то иные... Вот почему восклицание Алеши по адресу Коли Красоткина: «Ах, я знаю, где это вы прочли, и вас непременно кто-нибудь научил!» — следует отнести к уже отмеченной нами пародийности диалога. Белинский — по представлению Достоевского — был не «вечным студентом», а «вечным гимназистом», «русским мальчиком». К той же пародийности возможно отнести рассказ Алеши об одном заграничном немце, жившем в России. Немец будто бы написал, что если показать русскому школьнику карту звездного неба, о которой он до сих пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам ее исправленную. Белинский был в положении этого «русского школьника».

Идеи, которые волновали Белинского, были непрочные идеи, не органические. В самом деле, в 1839 году он пишет статью во славу русского самодержавия — «Бородинская годовщина»; в 1845 году страстно приветствует социализм; в начале 1847 года пишет Боткину о «социалистах, этих насекомых, вылупившихся из навозу, которым завален задний двор гения Руссо». Я при этом пропускаю крепкий эпитет, прилагаемый Белинским к социалистам, по чрезвычайной непристойности этого эпитета... Летом того же года он пишет своему корреспонденту, что прочел книгу Луи Блана, «прескучную и препошлую»... «Буржуазия у него еще до сотворения мира является врагом человечества...» «Ух, как глуп — мочи нет» — 15 февраля 1848 года Белинский пишет П. В. Анненкову: «Когда я в спорах с вами о буржуазии называл вас консерватором, я был осел в квадрате, а вы были умный человек. Вся будущность Франции в руках буржуазии, всякий прогресс зависит от нее одной...» В этом же письме Белинский называет Луи Блана «дураком, ослом и скотиной». Прочитав «Исповедь» Руссо, которого, раньше не читая, он называл гением, Белинский «возымел сильное омерзение к этому господину...» «Он так похож на Достоевского...»

Эта куча противоречий вовсе, однако, не доказывает ничтожества Белинского. Чем-то все-таки Белинский был значителен. Но чем же? Не тем ли, что, несмотря на всю эту лихорадочно-торопливую умственную деятельность, в душе у этого человека постоянно горела какая-то мучительная жажда социальной справедливости. Белинский был воистину «алчущий и жаждущий правды». И эта жажда определяла его духовное лицо.

Тот спор, который возник, кажется, в 1913 году по поводу статьи критика-импрессиониста, пытавшегося развенчать Белинского, весьма поучителен¹⁶. Аргументы для развенчивания были достаточные. На первый взгляд все очень убедительно: какой же, в самом деле, Белинский «великий критик», когда для него народная поэзия —

не более как «дубоватые материалы»; когда он Пушкина то бранит, то хвалит за одни и те же произведения; когда Соллогуб для него «поглубже Бальзака», а Гоголя он ставит «не ниже Купера...» Сомнителен как будто Белинский и как публицист, ибо трудно объяснить то, что начал он свою литературную деятельность с хвалы самодержавию и кончил тем, что все свои надежды возложил на великодушие Николая Первого, а с 1841 до 1846 года, значит, примерно пять лет был чуть ли не революционером по своим убеждениям. Летом 1841 года Белинский писал Боткину: «Я начинаю любить человечество по-маратовски: чтобы сделать счастливую малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную...»

И вот, несмотря на все эти красноречивые факты, правда была не на стороне импрессиониста, пытавшегося очернить Белинского, а на стороне ревнителей легенды о Белинском. Легенда о нем сложилась не случайно. Белинский дал для нее материал. Он был значителен ни своими идеями, ни своими критическими суждениями, ни публицистикой своей, а фактом своего бытия. Он был значителен как яркий и типичный выразитель особого рода психологии. Я бы определил эту психологию как «утопическую» в своих чаяниях и революционно-отрицательную по отношению к культуре.

Именно в этом аспекте Достоевский увидел Белинского. Припомним обстоятельства, при которых встретились эти необыкновенные люди.

Дворянин по происхождению, а по своему положению литератор-пролетарий, Достоевский, оторванный от устойчивых бытовых начал, склонен был тогда к утопизму не менее Белинского. Он был тоже мечтателем. Однако его отношение к истории и к культуре было иное, не такое, как у Белинского. Только одно их связывало — социальная утопия. Потрясающий крик о социальной несправедливости слышен на каждой странице «Бедных людей». Немудрено, что Белинский, в ту пору страстный социалист, с восторгом приветствовал роман Достоевского.

П. В. Анненкову критик, увлеченный повестью, так и сказал: «Подумайте, это первая попытка у нас *социального романа*...»¹⁷

Всем известен рассказ о том, как Григорович понес только что написанный Достоевским его первый роман Некрасову, как они просидели за этим романом всю ночь, восхищаясь и плача от умиления, как они в четыре часа утра разбудили Достоевского, спеша поздравить его со славою, в которую они поверили, предвосхитив мнение Белинского. Итак, первый литературный опыт Достоевского был

социальный роман. Он не мог бы его написать, если бы все вокруг него не было проникнуто одной покоряющей идеей, одним страстным инстинктом, одною к единой цели устремленною волею. Идеи, инстинкты и воли художников, мыслителей, социологов, моралистов, политиков и вообще всех равнодушных к миру людей в эту эпоху сосредоточены были на одной теме — *социальной несправедливости*. Все это движение совпало с процессом материального оформления и психологического самоопределения новых социальных сил, явившихся на арене истории*.

В России также явились тогда новые общественные силы и новые люди. Одним из таких людей был Белинский. Это был канун февральской революции. «Все эти тогдашние новые идеи, — писал Достоевский в 1873 году, — нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества. Мы еще задолго до Парижской революции 48 года были охвачены обаятельным влиянием этих идей. Я уже в 46 году был посвящен во всю *правду* этого грядущего обновления мира и во всю *святость* будущего коммунистического общества еще Белинским...»

Еще ранее на тех же страницах «Дневника писателя» Достоевский писал: «Белинский был по преимуществу не рефлексивная личность, а именно беззаветно восторженная, всегда и во всю его жизнь. Первая повесть моя “Бедные люди” восхитила его...» «В первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился с самою простодушною торопливостью обращать меня в свою веру. Я нисколько не преувеличиваю его горячего влечения ко мне, по крайней мере в первый месяц знакомства. Я застал его страстным социалистом»¹⁸.

И сам Достоевский весь был охвачен потоком тех же идей. Впрочем, мирозерцание Достоевского в ту пору еще далеко не установилось. Но уже и тогда было в нем нечто, чего Белинский принять никак не мог. Да и едва ли он мог это нечто понять. Впоследствии сознательно, а тогда еще бессознательно Достоевский верил в исключительность и несоизмеримость ни с чем иным *личности Христа*. Он верил, что факт появления Христа в истории есть факт особого значения, ни с чем не сравнимый. Ему казался этот факт столь необычайным, что он готов был пожертвовать даже логикою и какими угодно при-

* См.: В. Л. Комарович. Юность Достоевского. Былое. 1924. № 23. стр. 3–43 и мою статью «Достоевский и утопический социализм». — «Каторга и ссылка». 1929 г. Февраль — Март.

обретениями социальной культуры, если бы от него потребовали отречься от этого его внутреннего опыта.

«Я застал его страстным социалистом, — пишет Достоевский о Белинском, — и он прямо начал со мной с атеизма. В этом много для меня знаменательного — именно удивительное чутье его и необыкновенная способность глубочайшим образом проникаться идеей... Интернационалка, в одном из своих воззваний, года два тому назад, начала прямо с знаменательного заявления “мы прежде всего общество атеистическое”, т. е. начала с самой сути дела; тем же начал и Белинский»¹⁹.

«Тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которою труднее всего было бороться. Учение Христово он как социалист необходимо должен был разрушить, называя его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современной наукой и экономическими началами, но все-таки оставался пресветлый лик богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но в непрерывном неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием...» — «Да знаете ли вы, — взвизгивал он раз вечером (он иногда как-то взвизгивал, если очень горячился), обращаясь ко мне: — знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейства, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если бы даже захотел...»²⁰

Здесь, в «Дневнике писателя» стоит три точки. По условиям тогдашней цензуры Достоевский не мог точнее изложить этот странный разговор, но в письме к Страхову в 1871 году Достоевский рассказывает о том, как Белинский *ругал при нем Христа*. Тогда становится понятным дальнейший диалог, написанный Достоевским.

«Мне даже умилительно смотреть на него, — прервал вдруг свои ядовитые восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня: — каждый-то раз, когда я вот так-то помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет...»²¹

А на следующей странице «Дневника» Достоевский приписывает: «В последний год его (Белинского) жизни я уже не ходил к нему. Он меня не взлюбил, но я страстно принял тогда все учение его...»²²

Итак, Достоевский страстно принял тогда учение его, т. е. социализм Белинского, и в то же время не мог отказаться от «сияющей личности Христа», и каждый раз лицо его, Достоевского, искажалось от страдания, когда при нем ругали Галилеянина. Значит, тогда уже,

в середине сороковых годов, Достоевский усматривал в революции антиномичность, и ее проблема была для него прежде всего проблемой религиозною. Для нас, в связи с темой об отношении Достоевского к Белинскому, важно установить, что в 1846 году, при всей незрелости своей религиозной концепции, Достоевский был, однако, тверд относительно личности Христа. То, что свидетельство об этом относится к позднему времени, несколько не колеблет нашей уверенности, что «опыт Христа» у Достоевского уже тогда, в сороковые годы, был вполне реален. Едва ли у нас есть основание сомневаться в этом. Для этого надо заподозрить правдивость самого Достоевского. Выдумать такого диалога с Белинским нельзя. Приписывать художнику чудовищную ложь с нашей стороны было бы по меньшей мере не психологично. Оставаясь в пределах объективной науки, мы не рискуем вступить на путь личного психологического домысла. У художника в сороковые годы не было еще вполне сложившегося религиозного мироотношения, но личность Христа была для него и в эту пору реальностью, живою и необычайною.

Этот «христианский миф» о воплотившемся Боге, распятом и воскресшем, был не только достоянием души Достоевского, но и тем фактом, который определил все творчество Достоевского, начиная с «Бедных людей» и кончая «Братьями Карамазовыми». Нельзя понять до конца ни одного романа Достоевского, не считаясь с этим мифом, который для художника никогда не был и не мог быть отвлеченным началом или исторической фикцией. Для Достоевского этот миф был реальностью.

В мою сегодняшнюю задачу не входит сводка всех отзывов и упоминаний Достоевского о Белинском, тем более что это уже было сделано до меня*. Напомню только, что Достоевский неоднократно возвращался к теме Белинского. Им даже была приготовлена в 1857 году особая статья о Белинском, к сожалению, утраченная.

Противоречия в отзывах Достоевского понятны. Они объясняются не только хронологически и биографически, как это очевидно, напр<имер>, при сравнении ранних писем к брату с позднейшими письмами к Майкову или Страхову, но и принципиально. Достоевский всегда относился к Белинскому антиномически. Он не впадал в дурное противоречие с самим собою. Он не хулил Белинского по мотивам внешним. Достоевский, напротив, признавал в Белинском

* См.: С. Ашевский. «Белинский в оценке его современников». СПб., 1911 и его же статья «Достоевский и Белинский» // Мир Божий. 1904. Янв., стр. 197–239. См. еще: В. Комарович. Достоевский и шестидесятники // Совр. мир. 1917, № 1.

«удивительное чутье и необыкновенную способность глубочайшим образом проникаться идеей». И вот эта способность Белинского доводить каждую идею до ее предела и понуждала Достоевского снова и снова возвращаться к той же теме. Ведь он и сам признавался, что всегда склонен доходить до «черты». Свидания с Белинским произвели на художника сильнейшее впечатление, — того же нельзя, по-видимому, сказать о статьях критика. О них Достоевский почти не упоминает. Это вполне понятно. Личность Белинского (это видно из его писем) была гораздо выразительнее, чем его статьи. Но мало этого. Образ Белинского запечатлелся в душе Достоевского именно таким, каким он был в 1845 и 1846 годах. Достоевский не знал, что в конце 1846 года Белинский уже разочаровался в социальном утопизме и охотно именовал социалистов «ослами». Зато сам Достоевский, как известно, применил социалистические идеи к жизни, примкнул к тогдашним пропагандистам и пошел за эти идеи на эшафот и каторгу. Прошли года — а непостоянный и зыбкий Белинский все еще был для Достоевского в его воспоминаниях «страстным социалистом».

Эта ошибка Достоевского вовсе не умаляет, однако, внутреннего смысла их столкновений. Есть нечто более важное, чем всяческие мнения вообще. Важнее и значительнее характеры людей, природа их духовных организаций, их культурно-психологическая типичность. Сравнительная характеристика Белинского и Достоевского в этом плане дает ключ к пониманию их духовной встречи и борьбы и, между прочим, позволяет нам разгадать те мотивы, которые положены были художником в основание замеченной нами пародийности в диалоге Коли Красоткина с Алешей Карамазовым.

Не удивителен ли самый факт, что художник продолжает полемiku с ушедшим из этого мира человеком! Мало того, что он пишет о нем страстно и взволнованно, как о живом, своим друзьям: Белинский предносится его воображению даже тогда, когда он создает свое величайшее художественное творение «Братья Карамазовы».

В 1871 году Достоевский писал Страхову из Дрездена: «Я обругал Белинского более как явление русской жизни, нежели лицо. Это было самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни. Одно извинение — неизбежность этого явления». И далее: «Вы никогда его не знали, а я знал и видел, и теперь осмыслил вполне. Этот человек ругал мне... (Христа), а между тем никогда он не был способен сам себя и всех двигателей всего мира сопоставить со Христом для сравнения. Он не мог заметить того, сколько в нем и в них мелкого самолюбия, злобы, нетерпения, раздражительности, подлости, а главное, самолюбия. Он не сказал себе никогда: что же мы по-

ставим вместо него? Неужели себя, тогда как мы так гадки? Нет, он никогда не задумался над тем, что он сам гадок; он был доволен собою в высшей степени, и это была уже личная смрадная, позорная тупость. — Вы говорите, он был талантлив. Совсем нет, и, Боже! как наврал о нем в своей статье Григорьев. Я помню мое юношеское удивление, когда я прислушивался к некоторым чисто художественным его суждениям...»

Таковы были мнения Достоевского о Белинском в интимных признаниях. Здесь Достоевский не был озабочен сохранением правильной перспективы. В «Дневнике писателя», мы знаем, он был осторожнее. Но именно это интимное признание для нас важнее всего. Здесь крайнее, предельное заострение той темы, которая в конечном счете понудила Достоевского создать свой пародийный диалог.



VI

**В ОТРАЖЕНИЯХ
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА.
ЧАСТЬ 2.
CASUS АЙХЕНВАЛЬДА**



Ю. И. АЙХЕНВАЛЬД

Белинский

Белинский — это легенда. То представление, какое получаешь о нем из чужих прославляющих уст, в значительной степени рушится, когда подходишь к его книгам непосредственно. Порою дышит в них трепет искания, горит огонь убежденности, блещет красивая и умная фраза, — но все это беспомощно тонет в водах удручающего многословия, оскорбительной недодуманности и беспрепятственных противоречий. Белинскому не дорого стоили слова. Никто из наших писателей не сказал так много праздных речей, как именно он. Никто своими ошибками, в главном и в частности, так не соблазнял малых и немалых сих, как именно он. Отдельные правильные концепции, отдельные верные характеристики перемежаются у него слишком обильной неправдой; свойственна ему интеллектуальная чересполосица, и далеки от него органичность и дух живой системы. А то, что в самой правде своей был он так изменчив и неустойчив, — это подрывает даже ее. Его неправда компрометирует его правду. Белинский ненадежен. У него — шаткий ум и перебои колеблющегося вкуса. Одна страница в его книге не отвечает за другую. Никогда на его оценку, на его суждение положиться нельзя, потому что в следующем году его жизни или еще раньше вы услышите от него совсем другое, нередко — противоположное. У него не миросозерцание, а миросозерцания. Живой калейдоскоп, он менял их искренне, но оттого не легче было его читателям; и в высокой мере как раз Белинский повинен в том, что русская культурная традиция не имеет прочности, что бродит и путается она по самым различным дорогам. Нервный маятник его легкомысленных мыслей описывал чудовищные круги; учитель убеждений расшатывал убеждения — тем, что хронически и без явной трагедии от них отступался. Только в письмах к друзьям этот Виссарион-Отступник сокрушается иногда о своей изменчивости,

о своих «прыжках»; но перед аудиторией, в печати ему случалось даже выговаривать тем, кто однажды навсегда составил себе определенные мнения. Желанную динамичность духа, вечное движение, вечное искание он смешивал с непостоянством и непродуманностью коренных принципов. И оттого в пестром наследии его сочинений, в их диковинной амальгаме, вы можете найти все что угодно, — и все что не угодно. Рассудок несамостоятельный, женственно воспринимающий, слишком доступный для всяких теорий, сплошной объект и медиум влияний, Белинский слушал и слушался, и у него нечего было влияниям противопоставлять. Он не имел своего *a priori*; он другим не предпослал себя. Он был доверчив, этот критик без критики. Были присущи ему не идеи-силы, а идеи-гости. Человек без духовной собственности, «нищий студент», всегдашняя *tabula rasa*, он никогда не был умственно взрослым; по его натуре, перемчивой и восприимчивой, ему следовало бы только учиться, а он учил, — и в этом состояло тяжкое недоразумение его литературной судьбы. Или, лучше сказать, он учился на людях, на глазах у своих учеников; он читал для того, чтобы написать, читал наскоро, и за его страницами не чувствуешь долгой работы и умственной уединенности, часов накопления. Именно потому он всегда — временный, и каждой мысли, каждой дамы он — рыцарь только на час. Он чужд той непосредственной духовной цельности, того сокровенного мировоззрения, того инстинкта правды, которые уже сами по себе, предупреждая сознательное построение идеалов, оберегают человека от чрезмерно грубых заблуждений и от таких взглядов, какие граничат с нравственной близорукостью. У Белинского подобного ангела-хранителя не было, ядро истины в нем не таилось, его бессознательное начало не было лучше его сознательного, его перо не было умнее, чем он сам, и не однажды впадал он в такие ошибки, которые вызывают не только идейный отпор, но и моральное негодование. Увлечением и способностью каждое теоретическое верование доводить до его последних практических результатов объясняют нестерпимую реакционность его статей о Бородинском сражении; но это несколько не оправдывает отсутствия в Белинском того органического либерализма, тех предчувствий и влюбленных чаяний свободы, которые так обязательны для высокой души, и особенно для души молодой. Задолго до упомянутых статей, при первом же своем серьезном выступлении как критика, в знаменитых «Литературных мечтаниях», после декабристов, в тяжелую и темную пору нашей жизни, когда все передовое в ней действительно изнывало под гнетом грубой власти, — юноша Белинский, не задумываясь, делается рапсодом формулы «православие, самодержавие, народ-

ность» и поет умиленные, восторженные гимны «царю-отцу», «чадолюбивым монархам», «русскому мудрому правительству», «благородному дворянству», «знаменитым сановникам, сподвижникам царя на трудном поприще народоправления»; и потом эти панегирики самовластию и «просвещенному и благодетельному» правительству не умолкают, а усиливаются и громкими фанфарами звучат на всем протяжении его статей и некоторых писем. Из отношений Николая I к Пушкину Белинский помнит лишь то, что «венценосный Отец народа» в умирающего поэта «Своего» «пролил отраднейший елей благодарности, мира и спокойствия о судьбе осиротелых любимцев его сердца»; и в глазах русского критика русскому народу, в его «теперешнем состоянии», гибельна конституция, а нужна еще «нянька, в груди которой билось бы сердце, полное любви к своему питомцу, а в руке которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости»; и у нас «все идет к лучшему», а причиной этого — «установление общественного мнения... и, может быть, еще более того самодержавная власть», которая «дает нам полную свободу думать и мыслить, но ограничивает свободу громко говорить и вмешиваться в ее дела»; блюсти цензуру и не допускать перевода некоторых иностранных книг, — «это хорошо... потому что то, что можешь знать ты, не должен знать мужик». В прославленном письме к Гоголю и кое-где еще в частной переписке все эти мотивы сменяются затем совершенно иными звуками, страстной лирикой трибуны, — но ни в каком случае нельзя поручиться за то, чтобы она была у Белинского окончательной; и недаром уже после письма к Гоголю, в 1848 году, он опять славит «благотворное» влияние «просвещенного» русского правительства и «в отношении к внутреннему развитию России» считает царствование Николая I, «достойного потомка великого предка», т. е. Петра Великого, — «самым замечательным после царствования Петра». Цензура помешала бы Белинскому говорить, но она не мешала ему молчать. А он не хранил достойного молчания, — нет, он сочувственно поддерживал русский шовинизм и официальные каноны. Ему не нужно было с действительностью философски мириться, потому что он с нею вовсе и не ссорился. Умственно неуживчивый, он зато в общественном отношении был скорее консервативен. Вопреки молодости, нарушая ее психологические нравы, он не с протеста, не с отрицания начал, а с политических утверждений. Он их и продолжил; и лишь с известными оговорками можно признать, что не ими он кончил. Без Ариадниной нити, т. е. без хорошей натуры, без инстинкта истины, он отвергал все оппозиционное только потому, что оно — оппозиционное, на этом основании нелепо осмелял было «полоумного» Чацкого и оскорблял

свободолюбивые мечты. Так или иначе можно решать женский вопрос, но ни при каком его теоретическом решении нельзя, как это делал Белинский, утверждать, что «женщина-писательница с талантом жалка», что *une femme émancipée* переводится на русский язык нецензурным словом, которого «употребление позволено в самых обширных словарях», и что «женщина-писательница, в некотором смысле, есть *la femme émancipée*. Какими бы причинами все это ни освещать и объяснять, такие мысли, и речи, и выражения (мы приводим не самые грубые из них) все равно неумолимо свидетельствуют о внутреннем мещанстве, о прирожденной ограниченности, об отсутствии нравственного изящества и благородства. Не в шутку, а совершенно серьезно говорит в одном месте наш критик, что «горе тому отцу, который не высечет больно своего недоучившего сына за его первые стихи, а всего пуще за его первую повесть» («хороших розог» желает Белинский и «неистовым» писателям, как Жорж Санд, Бальзак, Дюма, Гюго). Пренебрежительно, в тоне мнимого аристократа, отзывается он о людях с бородами, о крестьянах, о простолюдинах — об этом обществе, «для которого существует Марьяна роцца»; он вышучивает малороссийскую литературу, он презирает славянские народности. Всего этого можно было бы не ставить в строку обывателям и специалистам пошлости, но *quod licet bovi, non licet Jovi*¹, простительное для ведомых, непростительно для вождя.

Замечательно при этом, что если в своих гражданских воззрениях Белинский все-таки пережил эволюцию вверх, если в данной области он прогрессировал и в конце своей, к несчастью, короткой жизни отрешился от многих предрассудков и сумел критически отнестись к русской действительности, то в сфере философской как мыслитель и критик он, наоборот, обнаружил падение. Здесь, эволюционируя, он регрессировал. И не только беспримечной податливостью своих летучих воззрений мог бы стяжать он себе данное ему выше имя Виссариона-Отступника: нет, на него имеет он право еще и потому, что, как Юлиан, он тоже отступил от истины. Ведь обычная и естественная тропа ведет людей от материалистического отрочества, от наивного утилитаризма гимназических дней — выше и дальше; Белинский же, рассудку вопреки, наперекор стихиям, ограниченности назло, проделал дорогу обратную и уронил приобретенное уже было достоинство идеализма. Как мыслитель и критик, он был взрослым сначала, а детство пережил потом. Он начал хорошо, а кончил дурно. Он начал глубокомысленно — отзвуками Шеллинга, Фихте, Гегеля; и пусть брал он философию из третьих рук, уже преломленной и ослабленной, пусть его терминология

была неотчетлива, невыдержанна и много вообще проявлял он логических недочетов, — все же, благодаря тому что он умел заражаться идеями и с помощью литературного таланта заражать ими других, он был уже близок к тому, чтобы построить русскую критику на единственно законном эстетическом фундаменте. Как это видно, например, из прекрасной рецензии на книгу Дроздова «Опыт системы нравственной философии», он понимал тогда всю ценность умозрительной философии и всю недостаточность эмпиризма; он принимал тогда автономную природу искусства, его самодовлеющее и бескорыстное значение; он воодушевленно провозглашал истину, что «поэзия не имеет цели вне себя». Он высказывал тогда много верных и ценных мыслей о сущности красоты, о первенстве формы, о творческом элементе критики, о том, что морализм вредит искусству, о том, что художественное произведение нравственно само по себе, о том, что надо отделять в писателе художника от человека и не проникать любопытствующими глазами в его внешнюю биографию. Он запрещал требовать от писателя отзывчивости на социальные вопросы, на тревоги исторического момента; он сознавал, как это безразлично для искусства, жил ли Гете при дворе или нет; он тогда, сопоставляя «Идеалы» Шиллера с «Нереидой» Пушкина, имел смелость и тонкость сказать ту правду, что «глаза, одаренные ясновидением вечной красоты» даже и не станут сравнивать этих двух произведений и все свое восхищение отдадут зеленым волнам, лобзающим Тавриду... Еще в 1840 году, в статье о Менцеле, Белинский по отношению к искусству стоял на такой правильной и широкой дороге, выказал серьезное постижение эстетики, установил, что «искусство не должно служить обществу иначе, как служба самому себе; пусть каждое идет своею дорогой, не мешая друг другу». Но в конце того же года он эту статью назвал уже «гадкой» и с ее беспорной эстетической высоты невозвратно опустился в роковую ересь. Белинский направил решительные шаги в сторону вульгарного утилитаризма. Впрочем, решительность его всегда была мимолетной, и на этот раз тоже у него осталось кое-что от прошлого, мелькали отблески прежнего эстетизма, мерцание покинутой истины; но в общем и главном критик искусства покорило искусство эпохе и ее социальным потребностям, лишил его свободы, обрек его на подчиненную и служебную роль. «Наш век враждебен чистому искусству, и чистое искусство невозможно в нем... теперь искусство не господин, а раб: оно служит посторонним для него целям» — так писал он в статье о «Тарантасе» в 1845 году; были потом у него обычные уклонения от этой тупой прямолинейности и обычные новые возвращения к ней, но основная мысль Белинского в завершающий

период его работы, в пору его зрелости, мысль, бегущая через все его тогдашние зигзаги, это — порабощение искусства. Белинский перестал быть философом. Павел обратился в Савла. Не уберегли его, не спасли Шеллинг, Гегель, Ретшер, и после них, уже пройдя их школу, по крайней мере, преддверие к их мудрой школе, освобождающей и глубокой, он предпочел ей духоту и теснины. Это он сказал, что Пушкин «принадлежит к той школе искусства, которой пора уже миновала совершенно в Европе и которая даже у нас не может произвести ни одного великого поэта». Это он, боясь оказаться не передовым, не просвещенным, робко соблюдая кажущиеся требования современности, временное поставил над вечным, изменил искусству, Нерееде, Пушкину и от имени умных людей заявил, что «каждый умный человек вправе требовать, чтобы поэзия поэта или давала ему ответы на вопросы времени, или, по крайней мере, исполнена была скорбью этих тяжелых неразрешимых вопросов», — заказанная скорбь!.. Это он расчистил дорогу публицистической критике, пагубному течению тенденциозности; законным сыном Белинскому приходится Писарев, и эпигоны последнего — это их общие потомки, и до сих пор не прекратившееся ребяческое разрушение эстетики — это их общее дело, общее наследство...

Умственное падение Белинского, обмен глубины на плоскость, ширины на узость оказались возможными именно потому, что в знаменитом авторе не было субстанциального зерна, не было собственной личности. Пер Гюнт русской критики, он тоже, подобно ибсеновскому герою, в своих разнообразных блужданиях мог бы искать самого себя и своим символом признавать луковицу без ядра: одни слои, оболочки, листки, одни наслоения, влияния, воздействия, — но где же сердцевина, где же он сам?

Его не было. Если вычесть у Белинского чужое, то останется очень мало — останется живой темперамент, беспредметное кипение, умственная пена. Руководимый руководитель, аккумулятор чужого, рупор своего кружка, Белинский был человек обязанный. Его охраняла счастливая случайность его соседей. Больше слушатель, чем читатель, он звучным голосом Герольда повторял то, что ему внушали. Правда, он не был приживальщиком чужих идей, он, вопреки его собственному признанию, не принимал их готовыми, как подарки, потому что с идеями сейчас же роднился, и психологическая самостоятельность у него была; но только родство это было не близкое, не кровное. Он с идеями роднился — да; он их усыновлял, но в тот же час или через полчаса («иная мысль живет во мне полчаса») снова отчуждал их — привязчивый отчим всех идей, не отец ни одной! Мыслитель вспльчивый, он быстро загорался и быстро погасал.

А в чисто интеллектуальном смысле Белинский вообще не имел своего мнения и своего знания. Надеждин, Полевой, Станкевич, Бакунин, Боткин, Герцен, Катков — все они давали ему сведения и мысли, и даже слова; он брал от них больше, чем имел на это право. Из его биографии нам известно, что страницы о романтизме написал для него Боткин, что для теоретического этюда о поэзии свои «тетрадки» предоставил ему Катков; очень многое и очень ценное в историко-литературных построениях Белинского заимствовано у его современников. Свое правильное и хорошее он получал от других или с другими разделял — своими ошибками больше обязан самому себе. И для того чтобы в такой зависимости Белинского от других, в его беспомощности убедиться, вовсе и не надо прибегать к его биографии: даже не выходя за пределы его сочинений, оставаясь в них самих, невольно испытываешь горестное недоумение перед тем, что мы выше назвали интеллектуальной чересполомией. Они так сбивчивы, и верное так часто сменяется в них вопиющей наивностью, незнанием и безвкусицей, умное — нелепым, ценное — дешевым, что сама собою возникает мысль о наличии нескольких авторов, — во всяком случае, об отсутствии одного внутреннего, одного цельного автора. Биография здесь объясняет и подтверждает то, что можно было бы вывести заранее. Со страниц нашего критика смотрит неосведомленность. Он был несведущ не только в том смысле, что ему недоставало многих элементарных и фактических знаний, но и в том, что эту скудость свою он дурно сознавал. Бедность была ему не порок. Он не видел тесных границ своей образованности, он не чувствовал сложности тех проблем, за которые брался с легким сердцем и с легкими сведениями, — он был принципиально поверхностен. Он не прошел внутренней школы, он не познал самого себя. Иначе он понял бы, как мало права было у него озирать с птичьего полета историю и философию, говорить обо всем, не зная ничего, при этом еще упрекать в незнании других (он смеялся над теми, кто выводит «трагедию» от «козла»; он Полевому выговаривал, что тот не читал Гегеля, — как будто сам он его читал!.. он, не щадя в себе инстинкта самосохранения, издевался над «пустыми и легкими судьями всего великого, которые легко судят о тяжелых вещах» и толкуют о Гегеле, «не зная даже, в каком формате изданы творения великого мыслителя»). Он вообще в своих недостатках не раз укорял других. У него не было перспективы по отношению к самому себе, он не знал, что в нем самом важно и что второстепенно, — подобно тому как не имел он перспективы и по отношению к литературе: небрезгливый, непривередливый, — зато, правда, и не запасливый, не скупой, — он писал о чем угодно, и, кажется, ему было все равно,

о какой книге отозваться, хотя бы даже о бумаге. И вот, без компаса знаний, без надежного вкуса, он растерялся в этом бумажном море и далеко не всегда отличал эстетическое добро от зла. Даже когда у него верны были общие принципы, он не умел применять их как следует к частным явлениям литературы. Когда правильна была его философия, тогда слабой оказывалась его психология и он недостаточно углубленно проникал в живую сложность произведения, в характеры героев и в индивидуальность разбираемого писателя. Ему вменяют в заслугу то, что он пошатнул несколько ложных литературных репутаций; но, помимо того, что и здесь он не самостоятелен и Бенедиктова, например, до Белинского развенчал уже кружок Белинского, — помимо этого, гораздо важнее то, что автор «Литературных мечтаний» не критик — творец, и хотя у нас любят цитировать красивые слова Аполлона Григорьева: «Имя Белинского, как плющ, обросло четыре поэтических венца, четыре великих и славных имени», Пушкин, Грибоедов, Гоголь и Лермонтов, — на самом деле, Белинский в оценке этих имен, в их начертании на скрижалях русской литературы выказал, наряду с верными суждениями, столько уклонений, колебаний, ошибок, столько поражающего непонимания, что на преимущественное сплетение своего имени с их именами он притязать не может. В рецензии на «Одесский альманах 1840 года» он пишет: «Два стихотворения г. Лермонтова, вероятно, принадлежат к самым первым его опытам, — и нам, понимающим и ценящим его поэтический талант, приятно думать, что они не войдут в собрание его сочинений»; С. А. Венгеров заинтересовался, о каких это стихотворениях идет речь, заглянул в альманах — и увидел, что Белинский советует Лермонтову изгнать «Ангела» (*По небу полуночи ангел летел*) и «Узника» (*Отворите мне темницу*): то, без чего Лермонтов не Лермонтов. Когда появился «Скупой рыцарь» Пушкина, скрывшего, правда, свое авторство под буквой Р., Белинский львиных когтей не распознал и об одной из самых великих и законченных красот русской литературы написал так: «Скупой рыцарь», отрывок из Ченстоновой трагикомедии, переведен хорошо, хотя как отрывок и ничего не представляет для суждения о себе». Дивная всеотзывность Пушкина, то, что порождает перед ним благоговейное изумление, то, что для него наиболее характерно, — это внушает критику такие строки: «Поэтическая деятельность Пушкина удивляет своею случайностью (курсив наш) в выборе предметов»; и в этой «случайности» он видит один из тех «недостатков» нашего поэта, которые так же «необходимо условливаются» его достоинствами, как «затылок — лицом».

Белинский вообще недооценил Пушкина; и среди бесчисленных грехов знаменитого критика это составляет самый тяжкий и незаможимый грех. К своим статьям о пушкинском творчестве такие долгие сборы делал автор; но именно в них, наиболее зрелых плодах своей работы, он показал, что не успел созреть. Хорошо говорил он, что у нашего гениального поэта — чудные изваяния, «видимые слухом»; но в общем Пушкин для него — это что-то отжившее, не стоящее на высоте просвещенного века, не поднявшееся до «современного европейского образования», не дающее «удовлетворительного ответа на тревожные, болезненные вопросы настоящего»; Пушкин для него — явление переходящее, устарелое, едва ли не историческое; Пушкин — «только» поэт, его пафос — «только» художество, а в мысли, мирозерцании, в светлой глубине Белинский Пушкину отказывал. О том, что где красота, там и философия, что художник — это мыслитель, он не догадывался. Не помогли ему его собственные указания, что поэзия — мышление в образах. В его глазах поэзия Пушкина «исполнена духа космополитизма именно потому, что она сознавала самое себя только как поэзию и чуждалась всяких интересов вне сферы искусства... Как творец русской поэзии, Пушкин на вечные времена останется учителем (*maestro*) всех будущих поэтов; но если б кто-нибудь из них, подобно ему, остановился на идее художественности — это было бы ясным доказательством отсутствия гениальности, или великости таланта». Так как понятие о вечности литературы было Белинскому вообще чуждо и он думал, что на все книги, направления, стили есть только временный спрос и временный к ним интерес, что теперь, например, «Ленора» не могла бы доставить Бюргеру громкого имени («золотое то время, когда подобными вещами можно снискивать себе славу!») и содержание «Людмилы» показалось бы «нелепым»; так как, изменив философии, сузив свои когда-то широкие горизонты, он вообще оказался во власти мелких и относительных оценок, то и в Пушкине он увидел «русского помещика», но не заметил главного, солнечного, бессмертного и прошел мимо его подлинного величия. Что же? В своей ограниченности Белинский считал, что даже «Отелло» «в образованном человеке нашего времени может возбуждать сильный интерес, но с тем, однако же, условием, что эта трагедия есть картина того варварского времени, в которое жил Шекспир и в которое муж считался полновластным господином своей жены»; слова Гамлета: «друг Горацио, на земле есть много такого, о чем и не бредила ваша философия», это для просвещенного Белинского — проявление «невежества и варварства» шекспировской эпохи, «а обскуранты нашего времени так и ухватились за эти слова, как за оправдание

своего слабоумия». Удивительно ли в таком случае, что «Руслан и Людмила» — это для нашего критика произведение детское, которое «можно только перелистывать от нечего делать, но уже нельзя читать как что-нибудь дельное»? Удивительно ли после всего этого, если и Татьяна для него — «нравственный эмбрион», и, любитель просвещения, Белинский «грубыми, вульгарными предрассудками» находит то, что «Татьяна верила преданьям простонародной старины, и снам, и карточным гаданьям, и предсказаниям луны»? Так отозваться на эти восхитительные пушкинские слова — можно ли представить себе со стороны критика более постыдную непонятливость? Над последним ответом Татьяны Онегину, т. е. над всею ее моральной сущностью, он, конечно, глумится, — душу пушкинской поэзии, ее нравственный идеализм, воплощаемый Татьяной, он в слепоте своей отверг. Татьяны он не понял и не принял, — а Пушкин без Татьяны, без ее принципа — не Пушкин. Про глубокомысленную и вещь «Сцену из Фауста», достойную Гете и достойную Пушкина, мы узнаем, что она «написана ловко и бойко и потому читается легко и с удовольствием». Так, справедливо и симпатично восхищение Белинского «Каменным гостем», но вдруг вы наталкиваетесь на удивительную плоскость; «Он проваливается. Это фактическое основание поэмы на вмешательстве статуи производит неприятный эффект, потому что не возбуждает того ужаса, который обязано бы возбуждать. В наше время статуй не боятся и внешних развязок, *deus ex machina*, не любят, но Пушкин был связан преданием и оперой Моцарта, неразрывной с образом Дон Жуана. Делать было нечего». Белинский не оценил по-должному ни сказок Пушкина, ни «Повестей Белкина», ни «Капитанской дочки». Он не поднял сокровищ, которые лежали на его дороге, он не вместил Пушкина, он воздал ему недостойно мало.

Он ужасающе не понял мудрого Баратынского, и если в 1838 году называл его стихотворение *Сначала мысль, воплощена в поэму сжатую поэта...* «истинной творческой красотой, необыкновенной художественностью», то в 1842 году про это же стихотворение отзывался: «Что это такое? Неужели стихи, поэзия, мысль?» — и советовал лучше совсем не писать, чем писать такие стихи. Он презрел как что-то жалкое и ничтожное «Конька-Горбунка» Ершова. Он пустил в наш литературный оборот противоположное истине утверждение, будто Гончаров — писатель объективный. Он Даля провозгласил «после Гоголя до сих пор решительно первым талантом в русской литературе» и некоторые его персонажи считал «созданиями гениальными». «Одним из драгоценнейших алмазов нашей литературы» был для него «Искендер» Вельтмана, и он во-

обще высоко ценил этого писателя. Правда, не так еще высоко, как «гениального» Фенимора Купера, «векового исполина-художника»: его романы Белинский «пожирал с ненасытной жадностью». «Сатира, — думал Белинский, — не может быть художественным произведением». «Фантастическое в наше время может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе и находиться в заведовании врачей, а не поэтов». «Герман и Доротея — отвратительная пошлость». В «Божественной комедии» нет поэзии. Сикстинская Мадонна производит впечатление... *comme il faut* — «*idéal sublime du comme il faut*»². «О таких предметах, как живопись, теперь так странно читать... длинные статьи: так думают многие».

Вообще, на каждом шагу своего критического пути Белинский становился жертвой аберрации, попадал в неслыханные безвкусицы, и это не искупается тем, что он потом от них отрекался или, наоборот, ради них отрекался от прежней истины. Конечно, были у него и правильные догадки, были верные оценки, но именно таковы пропорции его совокупного писательства, что правды у него меньше, чем неправды, и можно только сказать, что Белинский не всегда ошибался. И затем, как мы уже отметили, даже его правда дискредитирована той возмутительной шаткостью и бесконечными противоречиями, которые заставляли Достоевского насчитывать у него пять пятниц на неделе. Раздражает его постоянная вибрация, какое-то дребезжание ума. И находится оно в связи с тем, что Белинский в каждый из многих периодов своей интеллектуальной жизни мог мыслить только одну мысль, какую-нибудь одну. Не случалось, чтобы у него были они две зараз; он не умел связать двух мыслей. Он ослеплен по отношению к остальным элементам истины, когда его глаза раскрыты на один из них. Располагая только умственными красками, а не умственными оттенками, ум цепкий, но не глубокий и не широкий, он должен поэтому выбирать что-нибудь одно, всегда одно из двух, а не два, не оба. Хорошо, что он не был способен на средину, но он не был способен и на синтез. Вот почему либо Гете — либо Шиллер, либо французская литература — либо немецкая, либо умиление перед русской властью — либо письмо к Гоголю. Если художество творит новые ценности, то, включает Белинский, портретист — не художник, а разве мастер или попросту *господин*. Если права немецкая культура, то французы «прыгают на одной ножке», и у них — «какой-нибудь Вольтер», «какой-нибудь Гюго», и ничтожны Корнель и Расин, и продажны Бальзак, Дюма, Жорж Санд. Если поэт должен быть объективен, то лирика не поэзия, и если хорош романтизм, то классицизм надо выбросить вон. Так, нет у Белинского всегранности, но порознь

у него есть все. И это внешнее все, эта незаконная и незавидная роскошь, это изобилие мнений об одном и том же предмете и о разных предметах губит его. Неуловимый, текучий, шаткий, политеист убеждений, он беден в своем богатстве. Из кусочков его статей можно бы, одолевая противоречия, склеить истину, но этого не стоит делать, потому что это была бы именно механическая работа и все равно истина не принадлежала бы ему. На него нельзя опереться, его нельзя цитировать, потому что всякую цитату из Белинского можно опрокинуть другою цитатой из Белинского. Каждому яду он готовит противоядие, каждой речи — противоречие; и это с его стороны вовсе не умысел: это — его мышление. В его эволюциях нет внутренней необходимости, его произведения не есть целое, и он поэтому не вдохновляет на то, чтобы его брали всерьез, чтобы на него смотрели как на мыслителя. В наши дни один из его глубоких почитателей формулирует его преимущественное значение словами «великое сердце», — мы предпочли бы великий ум. Но, действительно, банальность одних утверждений, изменчивость других, нелепость третьих Белинский как бы возмещает тем, что все это он высказывает по большей части убежденно и горячо; однако он столько раз и о столь различное загорался, остывал и загорался опять, что в конце концов на его огонь смотришь холодно. И потом, если он энтузиаст, то почему же, смущенно спрашиваешь себя, у него так много риторики, и гусярного звона, и раскрашенного стиля, и все эти «на праге вечности», и «ученый, бескорыстно орошающий потом чела своего ниву знания»? Почему свою увлеченность он выражает не в задушевной и дорогой простоте, почему о любимом он говорит неестественно? В рецензии на грамматику Меморского он неостроумно высмеивает определение, которое тот дает поэзии: «Искусство мерным слогом изображать мысли и чувствования, предметы и действия, картины природы, выдумки воображения»; насколько, однако, эти скромные слова глубже, вернее и содержательнее, чем та пустая шумиха, которую (в рецензии на стихотворения Лермонтова 1841 г.) устраивает вокруг понятия поэзии сам Белинский, привлекая для характеристики последней «невинную улыбку младенца, стыдливый румянец на ланитах девушки, волны кудрей, мраморные плечи, огненный взор юноши, тихий блеск бесцветных глаз старца, упоение, трепет, мление, восторг наслаждения, сладость грусти, брачный блеск природы, сосуд духа, золу арфу» и так далее и так далее на протяжении целой страницы! Наконец, он не должен был бы сам вменять своего энтузиазма себе в достоинство, подмечать его, а он это делал, он слышал и любил свои «огненные слова», и ему «давало силу говорить так много одушевление», без

которого «мы не можем и не умеем писать, потому что почитаем это оскорблением истины и неуважением к самим себе».

Говорить так много... Да, количество слов у Белинского не соответствует количеству и качеству мыслей. У него нет сжатости; без умственной дисциплины ни на чем не умеет он «сосредоточиться, не входит и не вводит in medias res³, ему нужен очень далекий словесный разбег, — недаром он извиняется порою, что “заговорился, записался, придрался к случаю”». Он больше живет на периферии, чем в центре, и до центра часто совсем не доходит. Его городские ворота больше, чем самый город. Он слишком пересказывает содержание книги — там, где это не нужно, и притом иногда не той книги, о какой идет речь. Он слишком цитирует. Его неизбежные отступления от темы в область посторонних вопросов не увлекают, потому что они элементарны. Он морализирует, он берет на себя роль педагога.

Иногда, впрочем, загораются у него мысли и слова, которые надо только приветствовать и запомнить. Ломоносов жил «на рубеже природы», «вельможа вселенной», «ничто хорошее не может быть анахронизмом», «кто бывает всем, тот редко бывает чем-нибудь», «здравый смысл старше всех столетий», «реакция никогда не бывает умеренной», «кто не идет вперед, тот идет назад, стоячего положения нет», «литературу не создают: она создается», «великие художники никогда не доделывают своих произведений, если не могут их досоздать». Он помнил, что в деле творчества необходима «единичность творящей силы», и потому верил в единство «Илиады», в авторство Гомера; он сказал, что поэзия Жуковского «любит и голубит свое страдание».

Но спокойные и сжатые изречения не характерны для Белинского, потому что редко бывал он спокоен и не всегда его беспокойство было святое и привлекательное. Он вообще движется под знаком восклицательного знака, часто шумит из пустяков, и, особенно в его ранних рецензиях, слышится дурной тон, царит манера и пустословие раешника, нетонкая шутливость и грубое вышучивание. С пошлой книгой он бывает в одной плоскости, одного роста с ее автором. Он полемизирует неприятно, и мелко, и лично; критик, он других критиков называет критиканами; в истории нашей литературной жестокости и несправедливости нет более печальной страницы, чем его беспощадная травля Полевого. Слишком профессиональный журналист, Белинский не оградил себя и от нравственной пыли своего ремесла. И книга, от которой он не отрывался, беллетристика, от которой он как-то не уставал, должна была, наконец, заслонить перед ним живую жизнь. Этой опасности он не избег.

Но именно в том, что он был журналист, друг и ревнитель книги, ее читатель и оценщик, — в этом заключается и его положительное историческое значение. «Новую книгу», литературную новинку, Белинский поднял на степень события. После Белинского уже нельзя не интересоваться литературой, нельзя отбрасывать последний выпуск журнала. Через книги, ощупью, наивно, торопливо пробирался он к истине, увлекал за собою других, был зачастую ненадежным путеводителем и сам не разбирал дороги, падал, поднимался, снова падал: все это примиряло с ним даже тех, кто лично его знал — и не любил. Так, с живым сочувствием можно повторить сказанные про него, в заключение отрицательного некролога, особым тоном звучащие слова Погодина: «Но все-таки он принадлежал к нашей братии, он знал грамоте, развертывал с участием всякую новую русскую книжку и особенно всякий новый номер журнала, читал, писал, желал по-своему добра, любил просвещение, сколько понимал его, был беден...» Да, он принадлежал к нашей братии, он был писатель и читатель, он умел находить слова о чужих словах, и хотя себя он не собрал, не свел своих концов с концами, не поправил своих ошибок, однако не только от его дурного, но и от его хорошего рассыпались мысли, рассеялись по русской земле яркие искры; и хотя многих он сбил с толку, но иных он также обогатил, и он сделался патроном учителей русской словесности. Дух его витал в классах нашей школы, носился над тетрадами наших сочинений, и через этих учителей, о него заживавшихся, на него молившихся, проникал в юношеские сердца. И хотя действительный Белинский — совсем не то, что легендарный, но плодотворна и дорога была самая легенда его, миф о Белинском, его стилизованное и идеализованное лицо. И нелегко все-таки отворачиваться и от того реального человека, который хотя бы и в мираже легенды и недо-разумения мог оставить после себя такой прекрасный след и сумел завещать своему имени такой лучистый ореол. Но как раз высокому преданию о страстной душе, которая, упорствуя, волнуясь и спеша, честно шла к своей великой цели — этому благочестивому сказанию о Белинском соответствует, чтобы и другие честно сказали о нем свою правду. И если бы предложенная характеристика его была все-таки ошибочна, если он все же — тот, каким его желанный облик некогда рисовался воображению, то он первый признал бы, что, пусть молодому сердцу был друг Белинский, — большим и вечным другом должна быть истина.



П. Н. САКУЛИН

Белинский — миф

«Белинский, это — легенда... Белинскому не дорого стоили слова. Никто из наших писателей не сказал так много праздных речей, как именно он. Никто своими ошибками, в главном и в частности, так не соблазнил малых и немалых сих, как именно он... Человек без духовной собственности, “нищий студент”, всегдашняя *tabula rasa*, он никогда не был умственно зрелым; по его натуре, переменчивой и восприимчивой, ему следовало бы только учиться, а он учил, — и в этом состояло тяжкое недоразумение его литературной судьбы... В знаменитом авторе не было субстанциального зерна, не было собственной личности. Пер Гюнт русской критики, он тоже, подобно ибсеновскому герою, в своих разнообразных блужданиях мог бы искать самого себя и своим символом признавать луковицу без ядра: одни слои, оболочки, листки, одни наслоения, влияния, воздействия, — но где же сердцевина, где же он сам? Его не было... Небрезгливый, непривередливый... он писал о чем угодно, и, кажется, ему было все равно, о какой книге отозваться, — хотя бы даже о бумаге...»

«Довольно! Довольно! Откуда это? — с недоумением спрашиваете вы. — Кто в наше время решился таким тоном говорить о Белинском? Кто осмелился посягнуть на “многострадальную тень” человека, чью память благоговейно чтит лучшая часть русской интеллигенции?»

Этот невероятный поступок совершил Ю. И. Айхенвальд в новом издании III выпуска своих «Силуэтов». Года два тому назад в чрезвычайно категорической форме он утверждал, что история литературы должна прекратить свое праздное существование¹, а кстати уж и психология; в прошлом году он доказывал *urbi et orbi*², что сценическое искусство не есть искусство³. Теперь автор «Силуэтов» выступил с новым парадоксом и объектом своей «имманентной» критики сделал Белинского. Как школьника поставил он перед собой великого критика и, отбросив в сторону всякие церемонии, с неэстетической развязностью языка принялся клеймить его самыми резкими эпитетами, самыми оскорбительными выражениями. Первое время испытываешь прямо гнетущее впечатление; чувствуешь какое-то стеснение в груди, как будто на твоих глазах кто-то наносит хлыстом в лицо дорогого человека удар за ударом...

В чем же однако дело? А вот, извольте ли видеть, давно уже сложилась легенда, что Белинский — замечательная личность, что он — отец

русской критики, что он — великий гражданин и страстотерпец русской литературы, и Ю. И. Айхенвальд усомнился в основательности подобных похвал, которые он слышал «из чужих... прославляющих уст», решил «непосредственно» подойти к его книгам, даже *horribile dictu*⁴ познакомился с его биографией и прочитал его письма. И что же? — Изумлению его не было конца! Оказалось, что Белинский — не более как мыльный пузырь: от первого же прикосновения он лопнул и бесследно растаял в воздухе.

Теперь наступила наша очередь изумляться. Неужели же, — спрашиваем мы, — «прославляющие уста» не подходили «непосредственно» к сочинениям Белинского, не читали того, что удалось прочесть Ю. И. Айхенвальду? Подходили и читали... Даже более того — изучали Белинского и знают многие факты, о которых г. Айхенвальд ничего не говорит, а может быть, ничего и не знает: в «Силуэте» Белинского нет ни одного нового факта. Может быть, панегиристы Белинского страшно увлеклись, цenia его либерализм? Ведь у нас есть эта замашка — расхваливать человека за либеральный образ мыслей. Вспомните, что сам Белинский в известном зальцбруннском письме к Гоголю утверждал, что «у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта, и скоро падает популярность великих талантов, отдающих себя искренно или неискренно в услужение православию, самодержавию и даровитости». Нет, и эта причина не объясняет нам дела: Ю. И. Айхенвальд убежденно говорит, что «Виссарион отступник», эта сума переметная, был либералом весьма сомнительного свойства. Кто же, спрашивается, те близорукие люди, которые создавали легенду о Белинском? Кто виновники чудовищной лжи о нем? На скамью подсудимых приходится сажать Станкевича, Герцена, Тургенева, Кавелина, кн. В. Ф. Одоевского, Некрасова, Ап. Григорьева и мн. др. Все это — люди, которых из десятка не выкинешь. Сам Ю. И. Айхенвальд вспомнил, что даже М. П. Погодин в заключении своего «отрицательного некролога» сказал несколько теплых слов о покойном критике. Не знаю, приходилось ли ему слышать, но нам хорошо известен факт, что Пушкин один из первых угадал в молодом Белинском замечательного критика и желал его сотрудничества в «Современнике»⁵. Как же так? Как же все названные лица, имея возможность «непосредственно» соприкоснуться не только с сочинениями, но и с самой личностью Белинского, решительно проглядели, что сразу бросилось в глаза Ю. И. Айхенвальду? Как же, наконец, создаются легенды о великих людях? Неужели в самом деле нуль, пустое место, можно превратить в героя, в святого, сделать его предметом живучей легенды, которая переходит из уст в уста, от по-

колениа к поколению? Мифотворчество обыкновенно имеет какую-нибудь реальную основу. В конце своего этюда Ю. И. Айхенвальд и сам догадался-таки, что реальный Белинский «имеет же, значит, в себе нечто большое, если мог оставить после себя такой прекрасный след и сумел завещать своему имени такой лучистый ореол». Вот с этого и нужно было начать. Очевидно, приступив к зарисовыванию силуэта Белинского, г. Айхенвальд не уловил в нем самого существенного, — того большого, что определяет субстанциальное содержание характеризуемого писателя.

Мы лично высоко ценим самобытный и изящный талант Ю. И. Айхенвальда. Есть определенная сфера поэтического творчества, где его талант развертывается во всем своем блеске; в «Силуэтах» он дал нам ряд портретов тонкой, художественной работы, которые служат украшением галереи русских писателей. Но за пределами этого излюбленного круга он чувствует себя чужим человеком; его метод имманентной критики оказывается бессильным, неспособным проникнуть в сущность явлений иного порядка. У него нет чувства исторической перспективы; ко всему он применяет одну абсолютную мерку, злоупотребляя понятием «вечного». Можно подумать, что на рабочем столе нашего критика в граненом хрустальном флаконе стоит его знаменитый «реактив на вечность» и ему ничего не стоит любого писателя подвергнуть своей эстетико-химической операции. Эстетизм Ю. И. Айхенвальда не только субъективен (это — в природе вещей), но и догматичен; сектант эстетики, он нетерпим, он не вмещает всех живых разновидностей творчества.

Очевидно, считая свое чувство непогрешимым, он принципиально отказывается принимать во внимание какие бы то ни было объективные коррективы, а это приводит его не только к односторонности суждений, но и к явным парадоксам*.

Прекрасно сказал о Белинском Герцен (в дневнике, под 14-м ноября 1842 г.): «Фанатик, человек экстремы, но всегда открытый, сильный, энергичный. Его можно любить или ненавидеть, — середины нет. Я истинно его люблю». «Я истинно его ненавижу», — мог бы сказать Ю. И. Айхенвальд. Для него оказалось трудным понять тот психологический тип, который представлен в Белинском; он не сумел воспринять той своеобразной красоты, которую излучает натура Белинского. Автор «Силуэтов» хотел бы видеть в Белинском побольше спокойствия, выдержанности, последовательности, благолепного эстетизма, а природа наделила его страстной и мятежной душой, чуждой догматизма и неподвижной организованности. Ю. И. Айхенвальд психологически

* К оценке метода Ю. И. Айхенвальда мы предполагаем вернуться в журнале «Голос минувшего»⁶.

не мог полюбить Белинского и в своем этюде дал полный простор неприязненному чувству. Пренебрегая, по обыкновению, исторической перспективой, не гоняясь за точностью и полнотой фактов, не останавливаясь перед натяжками и тенденциозными придирадками, он силится доказать, что у Белинского не было собственной личности, что он был никуда негодный мыслитель и критик и что его влияние могло быть только отрицательным.

Аргументация — самая избитая, которой уже не раз пользовались разные хулители Белинского (см., напр., книгу С. Ашевского «Белинский в оценке его современников» ⁷⁾) и которая, как видим, не помешала «легенде» о нем прочно укрепиться в сознании русского общества.

В самом деле, на чем основывает Ю. И. Айхенвальд свой решительный приговор?

Во-первых, Белинский, по его словам, был постоянным объектом различных влияний. «Руководимый руководителем, аккумулятор чужого, рупор своего кружка, Белинский был человек обязанный». «Надеждин, Полевой, Станкевич, Бакунин, Боткин, Герцен, Катков — все они давали ему сведения и мысли, и даже слова». Мы не будем напоминать Ю. И. Айхенвальду его категорического убеждения, что «ничьим продуктом не служит никакая личность» (см. его предисловие к I вып. «Силуэтов»), а станем на его теперешнюю точку зрения. В приведенных словах содержится явное преувеличение как результат фактической неосведомленности сурового судьи. Вопреки своим принципиальным взглядам, он берет здесь на себя функции историка литературы, но, к его несчастью, ни один серьезный историк литературы не может поддержать его мнения о полной зависимости Белинского от разных авторитетов. Нравственная и интеллектуальная независимость была основным свойством личности Белинского. Еще в детстве он поражал своих учителей (напр., Попова) и посторонних наблюдателей (напр., Лажечникова) упорной самостоятельностью характера, стойкостью и критической настроенностью своего ума. Руководить Белинским было трудно, и никто им не руководил. Пусть Катков снабжал Белинского пресловутой «тетрадкой», пусть Боткин написал для него несколько страниц о романтизме. Все это далеко не имеет решающего значения. Ни Катков, ни Боткин не годились Белинскому в учителя и не могли соперничать с ним. И это потому, что в Белинском было «нечто большое», было «свое a priori» была могучая индивидуальность, которая и на чужое налагает печать своего, была та «психологическая самостоятельность», которую, попадая (уже не в первый раз) в противоречие с самим собою, все же признает за ним и г. Айхенвальд.

С особым ударением, далее, говорит Ю. И. Айхенвальд об «интеллектуальной чересполосице» Белинского, об изменчивости его взглядов. С внешней стороны факт безусловно верен, но свидетельствует ли это об отсутствии в человеке «субстанциального зерна»? Конечно, бывают натуры, которые рождаются с готовым мирозерцанием и динамика которых, если она есть, проходит органически спокойным, размеренным темпом. Белинскому чужды спокойствие и самодовольство догматических натур. Он не кабинетный эстет, а живой человек, с многоотзывной душой. Все вокруг него движется; возбужденными глазами следит он за ходом русской литературы и жизни; он — весь в огне, в процессе непрерывной динамики. Но он не Пер Гюнт, не луковица без ядра⁸. Взгляды менялись, но неизменными оставались субстанциальные свойства его личности, направляемые неусыпной жаждой истины и справедливости. «Вечное движение» было для Белинского мучительным процессом, потому что его «большой разум» (по выражению Ницше) требовал гармонии и полноты мировоззрения. Раходясь с многочисленными и бесспорными показаниями, Ю. И. Айхенвальд странным образом утверждает, будто Белинский сбрасывал свои убеждения, как змея чешую, будто он «хронически и без явной трагедии» отступался от своих взглядов. Мы отказываемся понять, как можно было прийти к заключению, что Белинский «не чувствовал сложности тех проблем, за которые брался с легким сердцем и с легкими сведениями», что «он был принципиально поверхностен». Эволюция Белинского в сфере идей, философских, эстетических и общественно-политических, говорит о совершенно обратном. Ю. И. Айхенвальд неверно истолковывает весь смысл этой эволюции, не улавливая основной психологической пружины, которая заставляла его двигаться в известном направлении.

Как эстетик и критик, Белинский, по мнению Ю. И. Айхенвальда, эволюционируя, «регрессировал»; «он начал глубокомысленно — отзвуками Шеллинга, Фихте, Гегеля», а затем «направил решительные шаги в сторону вульгарного и наивного утилитаризма», «изменил искусству». Нам думается, что обвинитель не только не соблюдал исторической перспективы, но и не понял сущности переживаний своего подсудимого. Оценка критической деятельности Белинского поражает своей необоснованностью и мелочной придирчивостью.

В порыве какой-то необъяснимой самоуверенности Ю. И. Айхенвальд решительно отказывает Белинскому в том, что составляет его неоспоримую силу, — в способности непосредственного восприятия изящного. «Безвкусица» и даже «неслышанная безвкусица» — такими выражениями критик наших дней щедро награждает критика

сороковых годов. В подтверждение приводится ряд эстетических грехов Белинского. Пусть читатель примет даже все пункты, на которых настаивает автор «Силуэтов». Пусть в отдельных случаях Белинский и в самом деле погрешил в своих эстетических оценках, но, право, как-то совестно перечислять огромные заслуги Белинского именно как литературного критика и, в противовес г. Айхенвальду, выдвигать те многочисленные случаи, когда его дар эстетической интуиции проявлялся с поразительной силой, когда он первый открывал талант в начинающем писателе и с изумительной прозорливостью определял присущие ему свойства. В частности и Пушкин. Если бы г. Айхенвальд не увлекся своим отрицанием Белинского, едва ли стал бы он уверять, что в Пушкине прославленный критик увидел только «русского помещика, а не заметил главного, солнечного, бессмертного и прошел мимо его подлинного величия». С уверенностью можно сказать, что до Г. В. Плеханова никто в сущности и не обращал внимания на те фразы Белинского где говорится о Пушкине как «русском помещике»⁹, потому что не в этом суть его критический статей о гениальном поэте. Именно Белинскому русский читатель всего более обязан углубленным истолкованием творчества Пушкина. Как критик, Белинский никем еще не превзойден. И это потому, что в своих суждениях он не только руководился непосредственным чувством (без чего, разумеется, нет критики), но и старался опереться на определенные эстетические принципы и методы критики. «Он был уже близок к тому, — решается сказать и сам Ю. И. Айхенвальд, — чтобы построить русскую критику на единственно законном эстетическом фундаменте». Белинский, бесспорно, более чем кто-либо из русских критиков сделал для эстетики. Ему мы обязаны тем, что некоторые положения, касающиеся процесса художественного творчества, истинной природы искусства и его самодовлеющего значения, стали теперь азбучными истинами. Но Белинский не нашел возможным оставаться в пределах одной эстетической критики и всюду оперировать одним принципом абсолютного, — он внес в критику также методы исторический и социологический. Ю. И. Айхенвальд иронизирует над Белинским, что ему было чуждо «понятие о вечности литературы», что, по его-де мнению, «на все книги, направления, стили есть только временный спрос и временный к ним интерес». Мнение Белинского формулировано здесь с натяжкой, если вспомнить, напр<имер>, его отношение к Шекспиру, но суть дела действительно такова. Г. Айхенвальд считает нелепым положение Белинского, «что теперь, например, “Ленора” не могла бы доставить Бюргеру громкого имени». Для историка литературы в словах Белинского

нет ровно ничего еретического. В доказательство можно сослаться, пожалуй, на самого же Ю. И. Айхенвальда. Не он ли объявил даже Тургенева «старомодным»? Но особенно, может быть, любопытна его статья в только что вышедшем 18 томе Энциклопедического словаря бр. Гранат: ненароком он выступил здесь в роли историка литературы и написал очерк о Державине. В поэзии Державина, пишет он, «отражена и личная его жизнь, и, не в меньшей мере, психология, и даже, так сказать, физиология блестящего века Екатерины». Мало того: тут же мы читаем: «и прав Белинский, что поэзия Державина, это — недоразвившаяся поэзия Пушкина». Какую же цену после этого могут иметь насмешки над Белинским и громкие фразы о «вечности литературы»?

Нет, Белинский не доктринерствовал, а хотел понять живой процесс литературного творчества и в своей эстетике охватить все богатство художественного слова. Как радовался он (в 1840 г.), когда для всех нашлось, наконец, место! На протяжении всей своей деятельности Белинский оставался верен основным принципам художественности: искусство для него всегда было искусством. Искусству он не «изменял». То, что г. Айхенвальд называет «изменой», было явлением иного рода.

Легко можно себе представить эстета, который, очертив себя магическим кругом, остается глух и слеп к проявлениям живой жизни. Белинский не принадлежал к этой категории. Проблему об искусстве он мыслил во всей ее фактической сложности, в неразрывной связи с тем великим целым, которое называется жизнью человеческой. Произведение искусства — святыня, но человек — высочайшее художественное создание и есть еще большая святыня. Пусть Ю. И. Айхенвальд прочитает, например, то письмо Белинского (уж все равно грешить!), где отразились муки его социальной совести, «при виде и босоногих мальчишек, играющих на улице в бабки, и оборванных нищих, и пьяного извозчика, и идущего с развода солдата, и бегущего с портфелем под мышкой чиновника, и довольного собой офицера, и гордого вельможи». Если только судья Белинского способен испытать волнение при чтении этого документа, если он не увидит здесь праздную «шумиху слов», то он должен понять, почему письмо заканчивается восклицанием: «И после этого имеет ли право человек забываться в искусстве и знании!» Только сухой доктринер может усмотреть «измену» искусству, когда Белинский говорит: «Начинаю бояться за себя, — у меня рождается какая-то враждебность против объективных созданий искусства», или когда он развивает идею о писателе — сыне своего времени, гражданине своего отечества, или когда утверждает, что жизнь — выше искусства. Проблема

искусства переходит у него в более общую проблему о смысле жизни, «о цели человеческого бытия или счастья». Понять эту психологию Белинского значит понять психологию многих других русских писателей с Л. Н. Толстым во главе, значит, пожалуй, понять психологию русской идейной жизни и русской литературы с ее ярким символом, — «красным цветком»¹⁰.

Ю. И. Айхенвальд оказался не в состоянии постигнуть душевную драму Белинского. Оттого он и решился бросить ему в лицо не только упрек в «измене» эстетике, но и обвинение в отсутствии у него «инстинкта правды». Трудно было допустить более грубый промах. Кто знает, что Белинский начал «Дм. Калинин» (об этом произведении г. Айхенвальд и не заикается), а кончил известным письмом к Гоголю, кто помнит, что в предсмертном бреду Белинский произнес «какие-то слова, обращенные к русскому народу, говорившие о любви к нему», кто вообще знает биографию Белинского, — тот не найдет истины в словах Ю. И. Айхенвальда, что «вопреки молодости, нарушая ее психологические нравы, он не с протеста, не с отрицания начал, а с политических утверждений», что в нем не было «того органического либерализма, тех предчувствий и влюбленных чаяний свободы, которые так обязательны для высокой души». Г. Айхенвальд, к изумлению, хочет быть *plus royaliste, que le roi*¹¹. Что бы Белинский не писал в «Литературных мечтаниях» или в бородинских статьях, его облик как гражданина и для современников, жадно читавших его произведения, и тем более для нас, рассматривающих его в исторической дали, остается светлым, незапятнанным. Совесь Белинского — кристально чиста, какие бы слова не вылетали из его уст. Обидно за Ю. И. Айхенвальда, который в непонятном ослеплении рисует Белинского мелким, пошлым человеком, предписывает ему «внутреннее мещанство», «прирожденную ограниченность», «отсутствии нравственного изящества и благородства», а в его вдохновенных речах находит «риторику» и «гуслярный звон».

Г. Айхенвальд жалеет тех «малых и немалых сих», которых «соблазнял» Белинский. «В немалой мере как раз Белинский, по моему мнению, повинен в том, что русская культурная традиция не имеет прочности, что бродит и путается она по самым различным дорогам». Признаться, для Пер Гюнта русской критики — немалая честь, если в нем нашлось столько мощи, чтобы на свой лад повернуть русскую культурную традицию. «Уж и впрямь, нет ли в нем чего-нибудь большего?» — еще раз мог бы спросить себя г. Айхенвальд. Мы не часто слышим от него речь о «русской культурной традиции» и позволяем себе решительно усомниться в его компетенции по этому вопросу. В откликах современников о Белинском он мог бы найти сведения

о нем, в каком направлении «соблазнял» Белинский своих читателей. С именем великого критика и отца русской интеллигенции перешел Белинский в потомство. Белинский — не миф, не легенда, а подлинный и огромный факт русской действительности. Его тень витает не только в классах нашей школы, над тетрадками ученических сочинений; он не только «патрон учителей русской словесности»; его дух реет над всей русской литературой, он — патрон всей русской интеллигенции. Его место давно уже определено нелицеприятным судом истории: его имя — свято. Давно уже Белинский находится за чертой досягаемости. Все, что можно было сказать в хулу Белинскому, уже сказано гораздо ранее г. Айхенвальда. Развенчать Белинского нельзя.

Ю. И. Айхенвальд хотел сказать «свою правду» о Белинском и написал памфлет. Конечно, силуэтам полагается быть черными, но силуэт Белинского вышел уже чересчур черным. Своим этюдом г. Айхенвальд показал, как слаба его связь с «русской культурной традицией». Такими выпадами он может только окончательно дискредитировать «имманентный» метод, в котором по существу есть много ценного, и рискует свои «Силуэты» превратить в кривое зеркало эстетики. Расправа, учиненная Ю. И. Айхенвальдом над Белинским, принадлежит к таким ошибкам, которые, употребляя его же выражение, «вызывают не только идейный отпор, но и моральное негодование».



Р. В. ИВАНОВ-РАЗУМНИК

Правда или кривда?

В Москве произошло печальное для истории русской литературы событие: в сентябре месяце сего 1913 года Юлий Айхенвальд уничтожил без остатка Виссариона Белинского.

Как могло это случиться? А вот как: вышло второе издание третьего выпуска «Силуэтов русских писателей» г. Ю. Айхенвальда, и в книге этой впервые появился очень черный «силуэт» Белинского. В статье о Белинском всего полтора десятка страниц; но поистине — non multa

sed multum¹. На пятнадцати страницах Белинский совершенно раздавлен грудой уничижительных эпитетов, пренебрежительных сравнений, презрительных определений. Луковица без ядра, человек без сердцевины, человек без духовной собственности, Пер Гюнт русской критики, нищий студент, всегдашняя *tabula rasa*², вечный умственный недоросль — вот что такое Белинский в подлинных словах и мнениях г. Ю. Айхенвальда. Если эти слова покажутся вам невероятными — загляните сами в статью, и вы найдете там многое другое, еще более невероятное. Белинский — празднослов, Белинский — духовный мещанин, Белинский — человек без хорошей натуры, без инстинкта правды, Белинский — принципиально поверхностен, Белинский — критик небрезгливый и непривередливый, писал о чем угодно и, кажется, ему было все равно о какой книге отзываться, хотя бы даже о бумаге... Все это и еще многое и многое другое вы найдете на нескольких страницах статьи г. Ю. Айхенвальда. «Постыдная непонятливость», «возмутительная шаткость», «ограниченность», «удивительная плоскость», «неслыханные безвкусицы на каждом шагу», «дребезжание ума» — это все Юлий Айхенвальд пишет о Виссарионе Белинском.

Не будем заранее возмущаться; выслушаем сперва доводы и аргументы г. Ю. Айхенвальда. Не беспричинно же, надо думать, вбивает он свой осиновый кол в могилу многострадального Виссариона. Есть же у него неоспоримые доводы, новые аргументы, новое освещение старых фактов; без этого он не рискнул бы, конечно, забрасывать грубыми словами одного из великих родоначальников и представителей русской культурной традиции. Послушаем сперва аргументы г-на Ю. Айхенвальда. И если окажется, что он прав, что Белинский действительно такое пошлое ничтожество («С пошлой книгой он бывает в одной плоскости, одного роста с ее автором», — говорит он о Белинском), такое пошлое ничтожество, каким изображает его г. Ю. Айхенвальд, — то нам волей-неволей придется признать свою ошибку, поставить на Белинском окончательный крест и сдать его в архив на потребу одних историков литературы. Пусть изучают его наряду с Фаддеем Булгариным! Если же новые факты и доводы г. Ю. Айхенвальда будут мало убедительными, то, пожалуй, окажется, что Белинский жив и донныне, — и тогда придется, пожалуй, поставить крест на хоронящей его статье, а затем уже составить суждение вообще об историко-литературном методе г. Ю. Айхенвальда.

Сдается мне, что похоронить придется не Белинского, а статью г. Ю. Айхенвальда. И это не потому, что г. Ю. Айхенвальд «дерзнул» восстать на Белинского. Дело не в дерзости, а в искренности. Нет

ничего мертвее и ненужнее раболепного преклонения перед «именами», и всякий имеет право своей «переоценки» любого из великих людей, всякий имеет право «честно сказать свою правду» (так заранее оправдывается г. Ю. Айхенвальд). Совершенно справедливо. Но в это всегда трудное историко-литературное путешествие можно пускаться, с надеждой на успех, лишь при условии глубокой искренности своего убеждения и при наличии основательного фактического багажа. А г. Ю. Айхенвальд пустился в дорогу налегке: он, конечно, искренне убежден в ничтожности Белинского, но все его факты и доводы находятся в очень печальном состоянии: он плохо знаком с тем вопросом, о котором взялся говорить, и с тем человеком, которого собрался похоронить. Здесь причина того возмущения, которое было вызвано выступлением г. Ю. Айхенвальда против Белинского, ибо выступление это — покушение с явно негодными средствами. «Честно сказать свою правду» — имеет право всякий; но без знания фактов честная правда сразу может обратиться в легкомысленную кривду.

Хоть бы одно новое доказательство, хоть бы один оригинальный аргумент, хотя бы новое освещение старых известных фактов! Ни того, ни другого, ни третьего. Ибо в большинстве случаев г. Ю. Айхенвальд не аргументирует, а декретирует. Вот, не угодно ли послушать: «Белинский, это — легенда... Белинскому не дорого стоили слова... Далеки от него органичность и дух живой системы... Белинский повинен в том, что русская культурная традиция не имеет прочности, что бродит и путается она по различным дорогам... Белинский компрометировал убеждения тем, что хронически и без явной трагедии от них отступался»... (Все это — на одной только первой странице статьи г. Ю. Айхенвальда). Как? Что такое? Позвольте! Недостаточно все это только *сказать*, — все это надо еще и *доказать*!

Невероятнейшее утверждение, за которое даже первокурсник позорно провалился бы на экзамене по литературе — будто бы Белинский менял убеждения *«хронически и без явной трагедии»!* Белинский менял убеждения хронически! В этом обвиняли его, правда, Шевырев и Погодин, но ведь с тех пор прошло, с Божьей помощью, три четверти века, о «переменах убеждений» Белинского существует целая литература, которую надо сперва всю опровергнуть, чтобы сказать о хроническом «отступничестве» Белинского, чтобы дерзнуть назвать его «Виссарионом-Отступником», как это на той же первой странице своей статьи делает г. Ю. Айхенвальд.

Впрочем, зачем утруждать себя знакомством с литературой вопроса? Пусть занимаются этим и пусть изучают это историки литературы; г-ну Ю. Айхенвальду достаточно было бы опровергнуть последние выводы этого изучения. Что же? Попробовал ли он

сделать это? Нет, зачем же! Он поступил проще: пришел и заявил, что Белинский хронически отступался от своих убеждений, заявил — и только! Хотя бы одно доказательство, хоть бы один аргумент! Вместо аргумента только этикетка: «Виссарион-Отступник». Г-н Ю. Айхенвальд любит такие этикетки: Герцена он именуется тут же рядом: «Александр Великолепный». Если бы я хотел подражать этим приемам г. Ю. Айхенвальда, то непременно назвал бы его... Об этом, впрочем, позвольте умолчать, ибо дело не в названии, а в факте — в факте крайнего легкомыслия г. Ю. Айхенвальда. Ибо поистине — большое легкомыслие с таким легким багажом выступать против фактов, собранных десятилетиями упорной историко-литературной работы.

Но пусть «хроническое» отступничество Белинского — простой lapsus calami³, простое легкомыслие, простая необдуманность; пусть «Виссарион-Отступник» — только хлесткая этикетка, больно хлещущая не Белинского, а самого г. Ю. Айхенвальда. Гораздо хуже другое его утверждение, будто Белинский отступался от своих убеждений без явной трагедии. Это поистине невероятно! До какой степени нужно не знать Белинского, чтобы отрицать в нем главную черту его жизни — величайшие мучения его, тяжелые трагедии, переживаемые при душевном росте, при смене мировоззрений. Белинский без явной трагедии отступался от своих убеждений! И это с легким сердцем говорится о том человеке, который тяжелой внутренней борьбой завоевывал каждое новое свое убеждение, который годами страдал и мучился, вынашивая «новые» истины, всецело овладевавшие его душой! Без явной трагедии! Но что же знает в таком случае г. Ю. Айхенвальд о Белинском, если не знает даже этого?

Вот почему нельзя и незачем спорить со статьей г. Ю. Айхенвальда; надо сначала предложить автору пополнить свой багаж. А пока против каждого его утверждения можно выставить прямо противоположное, и слишком часто причина этого будет — простая неосведомленность г. Ю. Айхенвальда в затронутом им вопросе, легкомысленное отсутствие у него багажа аргументов. Примеров — десятки; вот еще несколько на выбор.

Белинскому, заявляет г. Ю. Айхенвальд, «не нужно было с действительностью философски мириться, потому что он с нею вовсе и не ссорился (!). Умственно-неуживчивый, он за то в общественном отношении был скорее консервативен (!). Вопреки молодости, нарушая ее психологические нравы, он не с протеста, не с отрицания начал, а с политических утверждений» (стр. 3). Что ни слово, то... изумление! Как! Да неужели же г. Ю. Айхенвальд не знает

и того, что Белинский «начал» именно с протеста, именно с отрицания, что в драме своей «Дмитрий Калинин» он высказывал самые «протестующие» взгляды! Неужели же г. Ю. Айхенвальд не знает и того, как поплатился студент Белинский за эти свои взгляды? По-видимому, не знает, раз смело утверждает... «то, чего не было»!

Или вот другое смелое утверждение, — когда-то пущенное уже в ход кружком Погодина и Шевырева, а теперь воскрешаемое г. Ю. Айхенвальдом. У Белинского была только психологическая самостоятельность, заявляет его судья, только «живой темперамент, беспредметное кипение (!), умственная пена. Руководимый руководителем, аккумулятор чужого, рупор своего кружка, Белинский был человек обязанный: его охраняла счастливая случайность его соседей (?). Больше слушатель, чем читатель, он звучным голосом герольда повторял то, что ему внушали...» (стр. 6). Эту старую жвачку о «недоучившемся студенте», который-де только излагает печатно мнения своих друзей, много лет подряд жевали Шевырев, Булгарин, Погодин и компания. Но ведь теперь всякому гимназисту известно, что это сущий вздор! Ведь существует целая литература, целые исследования, которые надо опровергнуть с доказательствами в руках, прежде чем позволить себе в серьез повторять давно опровергнутые мнения! Неужели же г. Ю. Айхенвальд не знает и того, что в главных вопросах не только не был Белинский рупором друзей, но сам заставлял их менять привычные убеждения, с которыми они жились! Вот, например, «гегелианство» Белинского и знаменитая теория «разумной действительности»: один из исследователей установил (уже давным-давно!), что «Белинский выработал свою теорию *в противоположность воззрениям друзей*: одних склонил на свою сторону, с другими поссорился по поводу этой теории»... Слыхал ли об этом что-нибудь г. Ю. Айхенвальд? Вряд ли. Иначе бы он не стал утверждать то, что столь невинно утверждает теперь; и невинность его — невинность незнания. Знает ли г. Ю. Айхенвальд, что переход Белинского к «социальности» и социализму в начале сороковых годов — был сделан тоже вопреки и против мнения друзей его кружка? Или в области критической деятельности — пусть попробует сам себе дать отчет г. Ю. Айхенвальд, чьи «внушения» повторял Белинский в «Отечественных записках» в продолжение своего восьмилетнего в них сотрудничества? Читал ли г. Ю. Айхенвальд когда-нибудь хотя бы письмо Белинского к Боткину? Дымом разлетаются от фактов голословные утверждения г. Ю. Айхенвальда.

И этих голословных утверждений — десятки на каждой странице; сколько же их на полутора десятке страниц всей статьи! И можно ли

удивляться, что в конце концов эти декреты г. Ю. Айхенвальда вызывают возмущение в каждом, кто мало-мальски знает Белинского. И не оттого возмущение это, что г. Ю. Айхенвальд «дерзнул резко и враждебно отозваться о Белинском», а оттого, что отзыв этот голословен, построен на песке — на незнании фактов. Заранее оправдываясь, г. Ю. Айхенвальд настаивает на праве — «честно сказать свою правду» о Белинском, ибо «пусть молодому сердцу был друг Белинский — большим и вечным другом должна быть истина». Очень верные слова, повторяю еще раз, только вот вопрос: как это можно честно сказать свою правду о Белинском, если правда эта зиждется только на фактах и если как раз самое разительное незнание этих фактов обнаруживает г. Ю. Айхенвальд?

Но вот несколько давно известных фактов тщательно собирает г. Ю. Айхенвальд, чтобы развенчать Белинского как критика. Белинский недооценил Пушкина. Белинский не понял Баратынского. Белинский переоценил Даля. Белинский презрел Ершова. И еще несколько обвинений в таком же роде. Но неужели же это хоть для кого-нибудь убедительно? В свое время мне приходилось подчеркивать десятки ошибочных суждений Белинского (в статьях и примечаниях к собранию его сочинений «Библиотеки русских критиков»); но, Боже мой, разве в них дело? Попробовал бы г. Ю. Айхенвальд проделать следующий опыт: взять знаменитые «пушкинские статьи» Белинского, и подсчитать, с одной стороны, все ошибочные суждения Белинского о Пушкине, суждения несомненно отвергнутые последующей историей литературы, а с другой стороны — все суждения, сохранившие силу и до наших дней. Если бы он проделал эту скучную работу, то, пожалуй... пожалуй, не написал бы своей статьи о Белинском, которого так презрительно именуется «патроном учителей русской словесности». Ибо сообразил бы, что Белинский в значительной степени является патроном и его, Юлия Айхенвальда, который в своей статье о Пушкине с излишней красноречивостью повторил многие мысли Белинского о великом поэте...

Один только пример — одно поистине поразительное место, в котором г. Ю. Айхенвальд, осуждая Белинского, его же добром бьет ему челом. Слишком известно, что Белинский один из первых указал на основную черту пушкинского гения — его всеотзывчивость, его способность перевоплощения, его художественную многосторонность. «Прочтите его чудную драматическую поэму “Русалка” — она вся насквозь проникнута истинностью русской жизни; прочтите его тоже чудную драматическую поэму “Каменный гость” — она и по природе страны, и по нравам своих героев так и дышит воздухом Испании;

прочтите его “Египетские ночи” — вы будете перенесены в самое сердце жизни издыхающего древнего мира...» Так писал Белинский в 1844 году; эту же мысль он еще подробнее развил в статьях 1846 года; эту же мысль он не один раз проводил, начиная с первых своих статей 1838 года. Эту же мысль повторил Достоевский в своей знаменитой пушкинской речи; эту же мысль положил в основу своей статьи о Пушкине... тот же г. Ю. Айхенвальд в тех же «Силуэтах русских писателей».

И тот же г. Ю. Айхенвальд сурово порицает Белинского за то, что он-де не досмотрел в Пушкине этой черты! Невероятно, но факт. «Дивная всеотзывность Пушкина, — учит Белинского г. Ю. Айхенвальд, — то, что порождает перед ним благоговейное изумление, то, что для него наиболее характерно, это внушает критику (Белинскому) такие строки: поэтическая деятельность Пушкина удивляет свою *случайностью* (курсив г. Ю. Айхенвальда) в выборе предметов» (стр. 8). И все! И больше ни слова! Ни о том, откуда взята эта «случайная» фраза Белинского, ни о том, когда и в каком контексте она сказана, ни о том, что сама мысль о «дивной всеотзывности» Пушкина заимствована г. Ю. Айхенвальдом у того же Белинского!

Довольно! И теперь, надеюсь, достаточно понятно, почему эта печальная статья г. Ю. Айхенвальда вызвала «моральное негодование» даже самых мягких критиков (Статья П. Сакулина в № 228 «Русских ведомостей»)⁴. Всякий имеет право «честно сказать свою правду»; но если эта «правда» о великом критике и громадном человеке оказывается осиновым колом в его могилу, если великий критик оказывается пошлым ничтожеством, — то для этой новой правды нужны новые факты, новое освещение, новые аргументы. А г. Ю. Айхенвальд пришел налегке. На нескольких страницах совершил он свой военно-полевой суд над Белинским, облил его великодушным презрением, уничтожил его без остатка, — но вместе с тем обнаружил крайнюю скудость того историко-литературного багажа, с которым сам отправился в поход. Поступать так — значит самому себе копать яму, думая похоронить в ней великого человека. Вечно жив Белинский для каждого, кто его знает; и беспощадный крест надо поставить на печальной (не по замыслу, а по исполнению) статье г. Ю. Айхенвальда, признав ее легкомысленной кривдой.

Стоило ли в таком случае вообще говорить о статье г. Ю. Айхенвальда? Стоило, и по многим причинам. Главная из них, как это ни странно, та, что широкая масса «читающей публики» знает и Белинского, и вообще наших «классиков» только понаслышке и по школьным воспоминаниям. Ведь эта *читающая* публика есть прежде всего публика, никогда *не перечитывающая*. Перечитывать

Пушкина, Белинского! Много ли таких подлинных «любителей литературы»! Да и темп жизни не тот, чтобы требовать такой любви к литературе от широких читающих кругов. Вот почему и статья г. Ю. Айхенвальда может для них оказаться вполне по плечу: субъективные «импрессии» этого критика, который терпеть не может Белинского, покажутся этим читателям объективной истиной. Ведь как в свое время обрадовались многие и многие читатели, когда Писарев «развенчал Пушкина» за его «художественность»! Теперь наоборот: г. Ю. Айхенвальд «развенчал Белинского» за его «социальность», за исторический метод, — ну, а кроме того, и за поверхностность, ограниченность, постыдную непонятливость, возмутительную шаткость и прочее... Если г. Ю. Айхенвальд найдет доверчивых читателей — тем лучше для него; необходимо только было указать, что все утверждения его насквозь произвольны, что фактов он не знает и что ему надо пересмотреть свой багаж, прежде чем провозглашать свое суждение о Белинском.

А пока он пополняет свой багаж, скажу в заключение несколько слов вообще об «историко-литературном методе» г. Ю. Айхенвальда, ибо сам он в особой статье познакомил читателей с этим своим «методом». Изучение писателя, согласно этому методу, должно исходить только из его произведений; историческая обстановка, переписка, биография — не должны влиять на историко-литературную оценку писателя; для него существует один только «реактив вечности» — художественность, которая одна не умирает.

Всякая теория имеет право на существование — до тех пор, пока не разобьет себе лба о факты. С теорией г. Ю. Айхенвальда это окончательно случилось именно теперь, на статье о Белинском. Вот почему статья эта представляет несомненный (хотя и отрицательный) интерес для характеристики вообще историко-литературного (а значит, и критического) метода г. Ю. Айхенвальда.

С чего все началось? Дело было так. Писал г. Ю. Айхенвальд милые, очень прочувствованные и почти всегда слишком красноречивые этюды и наброски о русских писателях. Почти всех очень хвалил, так что даже в энциклопедические словари впоследствии попал как критик, безмерно «обсахаривающий» писателей в своих силуэтах (см. «Новый энциклопедический словарь» изд. Брокгауз-Ефрона, т. 1)⁵. Так бы оно и продолжалось, если бы не испортил всего дела Валерий Брюсов, который как-то лет пять-шесть назад написал про г. Ю. Айхенвальда, что-де он «ко всем школам и направлениям и ко всем писателям относится с одинаковой нежностью и всех равно обливает патокой своего умиления, так что под ее корой каждый превращается в сладкий столб, и уже не различишь, кто это:

Витя Стражев или К. Бальмонт...»⁶ Но кажется, первому же Валерию Брюсову и пришлось убедиться, что г. Ю. Айхенвальд умеет не только «обсахаривать» писателей: критик назвал поэта «преодоленной бездарностью» в очередном своем «силуэте»⁷. Лиха беда начало: с этих пор г. Ю. Айхенвальд упорно желает разрушить былую свою репутацию «обсахаривателя» и пишет ряд все более и более «уксусных» характеристик. Завершением их и является угольно-черный силуэт Белинского.

Но тут-то и оказалось, в чем слабость «историко-литературного метода» г. Ю. Айхенвальда: он не имеет ничего общего с историей литературы. Говорить об исторических явлениях вне истории — значит заранее отрезать себе дорогу к их пониманию. Можно помпезно восторгаться Герценом, можно всячески уничижать Белинского, но и в том и в другом случае мнение г. Ю. Айхенвальда лишено малейшей общеобязательности — именно в виду его антиисторичности. Критическая манера не есть историко-литературный метод.

Вот почему совершившееся полное уничтожение Виссариона Белинского Юлием Айхенвальдом представляет весьма малый интерес для истории русской литературы. Для характеристики же метода г. Ю. Айхенвальда событие это имеет решающее значение. Если с методом этим можно проглядеть великие душевные трагедии и громадное критическое дарование Белинского, — то с нас довольно, ценность метода определена. Статья о Белинском неожиданно для автора оказалась «реактивом вечности» его теории — и результаты получились для теории очень плачевные.

В заключение — возвращаюсь к фразе г. Ю. Айхенвальда о «русской культурной традиции». Один из историков русской литературы, названный выше П. Сакулин, справедливо сомневается в компетентности г. Ю. Айхенвальда в этой области; что же удивительного в том, что бедной фактами и голословной оказывается статья г. Ю. Айхенвальда о Белинском, родоначальнике громадного течения этой русской культурной традиции? Г-н Ю. Айхенвальд настаивает на своем праве «честно сказать свою правду». Всякий имеет право высказывать свое мнение, «честно сказать свою правду», — да, конечно. Я, например, тоже имею право «честно сказать свою правду»... ну хотя бы о современной турецкой литературе. Но знаете что? Я пока от этого воздержусь: в этом вопросе мне еще надо сильно пополнить свои сведения.



Ч. В-ий <В. Е. ЧЕШИХИН-ВЕТРИНСКИЙ>

<Новое издание третьего выпуска

«Силуэтов» Айхенвальда>

<(Ю. Айхенвальд. Силуэты русских писателей.

Выпуск III. Издание 2-е, значительно дополненное.

Изд. Т-ва «Мир». Москва, 1913 г. Стр. 223)>

Новое издание III тома «Силуэтов» г. Айхенвальда открывается статью о Белинском. Это изумительный пример, в какие дебри искажения исторической правды можно забрести безоглядным применением в корне ложного метода изучения. Г. Айхенвальд, как известно, принципиально является противником изучения писателя в свете данных его биографии и исторической обстановки деятельности. Он требует непосредственного обращения только к слову писателя, рассмотрения его вне пространства и времени. Если этот импрессионистический метод дает нечто в применении к писателям исключительного художественного значения, то в отношении к людям, связанным теснейшей связью с эпохой, приводит к существенным недоразумениям. Г. Айхенвальд опирается на одни писания Белинского и не желает разбираться в последовательности его развития. Наталкиваясь на многочисленные противоречия и ошибки, которые невозможно понять вне связи всей жизни Белинского и его эпохи, г. Айхенвальд обрушился на Белинского целым потоком укоризн и обвинений. Это — «литературный силуэт» в кривом зеркале, настоящий разнос, обвинительный акт, составленный с пристрастием, с подбором всякого лыка в строку. «Белинский, это — легенда, — с места в карьер объявляет г. Айхенвальд. — То представление, какое получаешь о нем из чужих прославляющих уст, в значительной степени рушится, когда подходишь к его книгам непосредственно».

К сожалению, г. Айхенвальд подошел к Белинскому вовсе не непосредственно, а с предвзятой целью. Предвзятость и в потоке укоризн, и в способах подкрепления их. «Никто из наших писателей не сказал так много праздных речей, как он»... «У него шаткий ум и перебои колеблющегося вкуса». «У него не мирозерцание, а мирозерцания»... «Неровный маятник его легкомысленных мыслей (sic!) описывал чудовищные круги; учитель убеждений компрометировал убеждения — тем, что хронически и без явной трагедии от них

отступался. Только в письмах к друзьям этот Виссарион-Отступник иногда сокрушается о своей изменчивости: в своих “прыжках”... «Человек без духовной собственности», «нищий студент», «всегдашняя *tabula rasa*, он никогда не был умственно-взрослым»... и т. д., и т. д. Каждая страница пестрит подобными «оценками» и эпитетами.

Для оценки Белинского имеется громадный и вовсе не легендарный материал его писем и достоверные свидетельства множества лиц, его знавших, — Тургенева, Кавелина, Герцена, Гончарова, Панаева, Лажечникова, И. Аксакова и др. К личности Белинского можно подходить с очень разнообразных сторон. Психологический анализ ее г. Айхенвальдом не сделан, а есть лишь множество догматически заявленных и слабо подкрепленных упреков его нравственному характеру.

В особенности поразило нас обвинение Белинского в отсутствии настоящего «органического либерализма, тех предчувствий и влюбленных чаяний свободы, которые так обязательны для высокой души, и особенно для души молодой». Это — требовательно. Но забыт «Дмитрий Калинин» Белинского-юноши. Не говорим о периоде «примирения». Разберем только злостный попрек Белинскому за то, что он, после революционного, если угодно, письма к Гоголю, в 1848-м году, будто опять в печати славил самодержавие: «в отношении к внутреннему развитию России» он объявлял царствование Николая I «самым замечательным после царствования Петра Великого». Подумаешь, действительно, какая отталкивающая неустойчивость! Но г. Айхенвальд умалчивает, чем эта фраза, находящаяся в рецензии на книгу четвертую «Сельского чтения» (точных ссылок у г. Айхенвальда нигде нет), была вызвана. Статья написана, действительно, после письма к Гоголю в конце 1847 или начале 1848 года. Но о существовании статьи г. Айхенвальд совершенно умолчал. «Старые основы общественной жизни, которые уже заржавели от времени и могли бы только затормозить колеса великой государственной машины и остановить ее движение вперед, мудро отстраняются мало-помалу без всякого сотрясения в общественном организме, — читаем мы здесь. — Обращено особенное внимание на положение и быт народа и сделаны попытки, обещающие прекрасные результаты, на его, так сказать, воспитание. Вот истинное продолжение великого дела Петра. Это именно самое, за что бы теперь взялся сам Великий Преобразователь России, если бы он мог восстать из гроба, и о чем не только в его время, но и долго после нельзя было и думать. Не говоря о многом другом, мы, в доказательство сказанного нами, укажем только на учреждение

министерства государственных имуществ». Далее Белинский ставит значительное многоточие, очень понятное его современниками и которое следовало бы понять и г. Айхенвальду, все-таки историку литературы. В это время носился слух об освобождении крестьян. Министр государственных имуществ, граф Киселев, считался в числе заведомых сторонников освобождения, и ему именно в этот момент со стороны Николая I были оказаны особые знаки внимания, перетолкованные как один из признаков крестьянской реформы (см. письмо Белинского П. В. Анненкову, написанное в декабре 1847 года, то есть перед появлением цитированной статьи). Вся статья написана, по-видимому, лишь ради радостного намека на предстоящую реформу. Таким образом, никакого этического противоречия между письмом Белинского к Гоголю, с требованием в этом письме освобождения крестьян, и данной заметкой, приветствовавшей освобождение, в противность ядовитому подчеркиванию свободолобивого г. Айхенвальда, решительно нет. Чем распространяться о «внутреннем мещанстве», о «прирожденной ограниченности», об «отсутствии нравственного изящества и благородства» у Белинского, следовало бы доказать свое право на такой суд хоть осмотрительностью в упреках и цитатах. Незаметно для себя автор впал в ту самую бранчивую запальчивость в споре, за которую от него Белинскому особенно достается.

Обращаясь к Белинскому как к критику, г. Айхенвальд находит, что, в сфере философии и критики, Белинский с годами обнаружил только падение от разумных философских взглядов к публицистическим. Об этом «падении» можно было бы вести особый разговор, и здесь г. Айхенвальд, вынужденно роняя, что «психологическая самостоятельность у него (Белинского) была», не пытается даже определить, в чем же она состояла, а расплывается в упреках «незнанию», «безвкусию», «отсутствию цельности». «Он писал о чем угодно, и, кажется, ему было все равно, о какой книге отозваться, хоть бы даже о бумаге». Ни слова о тех муках, которыми сопровождалось для Белинского (см. его письма и рассказы о нем) это многописание о вздорных иногда книжонках, вынужденное самой обнаженной нуждой.

Не весьма удачны и приводимые г. Айхенвальдом доказательства «поражающего непонимания, которое будто бы проявлял Белинский даже в оценке Пушкина, Грибоедова, Гоголя и Лермонтова, в особенности ему, по общему мнению, обязанных утверждением своей славы».

Г. Айхенвальд упрекает, относительно Лермонтова, Белинского за то, что в рецензии на «Одесский альманах» 1840 года он высказал

надежду, что два стихотворения Лермонтова («Ангел» и «Отворите мне темницу») не войдут в собрание его стихотворений как самые первые его опыты. Г. Айхенвальд возмущен, предлагается выкинуть «то, без чего Лермонтов не Лермонтов!» Согласны: без «Ангела» Лермонтов не Лермонтов, хотя нельзя сказать того же об «Отворите». Но дело-то в том, что Белинский, во-первых, все-таки совершенно точно угадал, что стихотворения очень ранние (1831–1832 гг.), во-вторых, он всегда был противником собраний, предназначенных для широкой публики, но обнимающих каждую строчку данного писателя. Главное же, об этих стихотворениях Белинский вовсе не отзывался дурно, наоборот: «Эти два стихотворения недурны, даже хороши, но только не превосходны, а без этого не могут быть и хороши, когда под ними подписано имя г. Лермонтова». Весь отзыв Белинского, цитируемый ему на позор, таким образом, есть только выражение очень понятной требовательности критика к исключительному по дарованию поэту-современнику.

Пушкина, по мнению г. Айхенвальда, Белинский, помимо частных грубо ошибочных суждений — «вообще недооценил», что составляет «тяжкий, незамолимый грех». В действительности, Белинский, конечно, необычно высоко поставил Пушкина как великого национального поэта, недаром же называл великим подвигом его «Евгения Онегина» и т. д. В частности, Татьяну, которую Белинский, по мнению Айхенвальда, только унижал, критик на деле причислял к глубоким и сильным натурам и как тип русской женщины ставил ее образ очень высоко. «Любитель просвещения, Белинский», — опять своеобразно цитирует Белинского г. Айхенвальд — «грубыми, вульгарными предрассудками» находит то, что «Татьяна верила преданьям простонародной старины, и снам, и карточным гаданьям, и предсказаниям луны». Так отозваться на эти восхитительные пушкинские слова — можно ли себе представить со стороны критика более постыдную непонятливость?» У Белинского сказано так, да не совсем так. «Татьяна возбуждает не смех, а живое сочувствие... ее глубоко страстная натура заслонила в ней собою все, что есть смешного и пошлого в идеальности (речь об “идеальных романтических девах”). Татьяна осталась естественно простой в самой искусственности и уродливости формы, которую сообщила ей окружающая ее действительность... Это дивное соединение грубых, вульгарных предрассудков с страстью к французским книжкам и с уважением к глубокому творению Мартына Задеки возможно только в русской женщине». Это не «постыдная непонятливость», а восхищенное любованье девушкой, в которой получала неожиданную прелесть и дань предрассудкам.

Конечно, г. Айхенвальд далее упрекает Белинского за то, что он «не понял» сказок Пушкина, «Повестей Белкина», «Капитанской дочки», в чем критик повинен разве тем, что все это было заслонено в его глазах более крупным, более важным, что нужно было отставать от враждебной Пушкину критики. Конечно, г. Айхенвальд перечисляет все такие грехи Белинского, как умаление Баратынского, объявление «гениальным» Купера, отрицание малороссийской литературы и т. д., и т. п., что все давно указано исследователями Белинского, не отрицавшими его критической гениальности. Зато г. Айхенвальд ни словом не упоминает о положительной, напр<имер>, роли Белинского в установлении художественной славы Гоголя и т. п., и вот еще пример все той же непомерной придирчивости: «В истории нашей литературной жестокости и несправедливости нет более печальной страницы, чем его (Белинского) беспощадная травля Полевого». Но ведь «травили» Полевого, если здесь уместно это слово, за то, что он во второй половине деятельности примкнул к позорному в истории русского общества союзу Булгарина и Греча, Белинскому же принадлежит не только известная общая, глубоко сочувственная, посмертная оценка Полевого в отдельной статье о нем, но подобная же в некоторых отношениях оценка дана также и при жизни Полевого в отзыве об «Очерках русской литературы».

В заключение, после немалого количества поклепов, г. Айхенвальд снисходительно роняет там и сям несколько похвальных слов Белинскому, в особенности как журналисту, другу и ревнителю книги, ее читателю и оценщику. И на том спасибо. Стремительный натиск в отворенные двери промахов и недосмотров Белинского и ослепленный набор неточных и недоказательных цитат, однако, «легенды» не разбил. Что Белинский не миф, а с ним приходится считаться, как с живой силой, показывает и статья г. Айхенвальда, напомнившая худшие приемы писаревской критики Пушкина. Г. Айхенвальд «считал на солнце пятна и проглядел его лучи».

Новым в новом издании III выпуска «Силуэтов» являются еще очерки о Герцене, Карамзине, Жуковском, Бальмонте, Минском и Викторе Гофмане. Некоторые из старых очерков переделаны и расширены, впрочем, не по существу. Новые и старые очерки обильно уснащены утомительным множеством изысканных, цветистых фраз, оборотов, образов и метафор, без которых никогда не обходится сладко-журчащая, но по временам ядовитая и пристрастная речь г. Айхенвальда.



Н. Л. БРОДСКИЙ

Развенчан ли Белинский?

Не только писать, но и читать надо честно.

Айхенвальд Ю. И. Предисловие, XXI

И конечно, мы обратим главное внимание на его слова, а не на его обмолвки; надо помнить, что сущность солнца не в его пятнах.

Айхенвальд Ю. И. Силуэты, II, 117

Газетные статьи, публичные лекции, диспуты, речи в академических аудиториях на тему о Белинском рельефно вскрыли, как больно задел Ю. И. Айхенвальд своим силуэтом друзей русской культуры. Шум, поднятый вокруг его статьи, вероятно, не скоро еще уляжется; взволнованное море страстей продолжает вздыматься: мы читали, готовятся статьи, ответы критику-импрессионисту, и знаем, что из-за его взгляда на Белинского вчерашние друзья расходились в раздражении, готовые к ссоре, интимному разъединению... Действительно, к его статье равнодушно отнестись нельзя, это значило бы признаться в собственной омертвелости: вся пронизанная какой-то злой нетерпимостью, она бьет по слишком дорогому, утомляет, вызывает невольно резкие слова по адресу автора... Надо много иметь выдержки, душевного покоя, чтоб без волнения читать и без внимания оставить те страницы, где Белинский рисуется человеком «шаткого ума, без хорошей природы, без инстинкта правды, сочувственно поддерживающим русский шовинизм и официальные каноны», где Белинскому приписываются «вопиющая наивность, незнание и безвкусица, постыдная непонятливость, возмутительная шаткость, беспомощность, небрежливость», «гуслирный звон» стиля, «пустословие раешника» и т. д. и т. д. в еще худших выражениях на протяжении четырнадцати страниц. Мы не принадлежим к таким спокойным натурам, которые без гнева и возмущения могли бы читать подобные оценки, и лишь жалеем, что слова только приблизительно выражают подлинные чувства... Несколько обезоруживает мысль, что критик, блестяще понявший Герцена, Л. Толстого, подвергся временному затмению в неприязни Белинского, что его теперешняя «невменяемость» сменится чувством стыда за написанные строки и благоговейным внесением в его «литературный Олимп» ныне поруганного бога, но... пока надо отбить сделанное нападение, указать, что удар был рассчитан неверно.

Прежде всего нам хотелось отметить, что многое из того, что Ю. И. Айхенвальд приписывает Белинскому, составляет неотъемлемую его собственность, что острое его слов, направленное против «неистового Виссариона», легко можно повернуть против него самого. Как это ни странно, но обозрение сочинений критика-импрессиониста неотразимо подтверждает это впечатление. Факты говорят сами за себя. «Белинский не надежен... Одна страница в его книге не отвечает за другую... Учитель убеждений компрометировал убеждения тем, что хронически и без явной трагедии от них отступался». Можно ли положиться на г. Айхенвальда? Оперирующий имманентным методом, высокомерно взирающий на историков литературы, считающий единственно законным фундаментом критики эстетический страдания и недуга, как-то совестно было бы прилагать чисто эстетическое мерило». Хорош же метод, который самому его рыцарю иногда совестно применять к творчеству писателя!.. Признание, что «писатель не продукт ничей, как ничьим продуктом не служит никакая личность» одновременно вяжется с убеждением, что «все на свете влияет друг на друга, ничего не существует в замкнутой разобщенности», что «Пушкин многому подражал, даже другим поэтам». «Литература — воплощение догадок и прозрений, вдохновенная Пифия, прорицательница далей, вечное будущее... Она сверхвременна и сверхпространственна...» — и в то же время для нашего критика «жизнь больше искусства», «искусство меньше реальности», «без жизни, без мысли, без страдания искусство теряет всякую цену, тогда оно просто бледная цитата, жалкая замена великой книги бытия». «Писатель — дух, его бытие идеально и неосвязаемо; писатель — явление спиритуалистического, даже астрального порядка» — и, однако, у «вечно правого» Пушкина «вообще часто слышатся жестокие боевые мотивы и неприятная похвальба воинственной силой; эпилог “Кавказского пленника” еще яснее показывает, что трудно отрешиться от грехов культуры». Не потому ли, что писатель — дух, г. Айхенвальд говорит, что «Достоевского хочется и можно ненавидеть»?.. Горячий защитник индивидуализма, критик восклицает: «нет направлений: есть писатели», но в этюде о Карамзине читаем: «как беллетрист, Карамзин больше направление, чем личность; у него не столько черты индивидуальные, сколько общие особенности сентиментализма». «Писатель как человек и писатель как художник, это — разные личности» — убежденно поучает наш критик, видящий в Жуковском удивительно гармоничное «соответствие доброго слова и доброго дела», заявляющий, что «А. И. Одоевский, как и Рылеев, свою поэзию довершил своею жизнью», а «Гончаров перенес свою

натуру всецело в свои произведения». Это ли не «шаткость ума и бесконечные противоречия»?..

Как примирить неоднократное повторение мысли, что «биография писателя не объясняет его произведений», что «биография, летопись происшествий, беспомощно отступая перед темными глубинами духа, имеет своим предметом только внешнего человека, а не внутреннего, только эмпирический, а не умопостигаемый характер писателя», как примирить этот взгляд со следующими строками г. Айхенвальда: «Тусклое, серое, однообразное детство под эгидой требовательного отца, который слишком тяжело и серьезно переносил жизнь; больничный сад, где первыми собеседниками ребенка явились больные; ненавистная школа, крепость, позорный столб, ожидание казни, каторга, недуг, нужда, смерть жены, смерть ребенка — таковы впечатления, которые приняло впечатлительное сердце Достоевского. Могло ли оно создать другие произведения, чем те, какие лежат перед нами?..» Если наисложнейший рисунок творчества Достоевского критик объясняет биографией писателя, то что же удивительного, что он «изгнанием, ссылкой, подневольной солдатчиной» объясняет «поэзию отчаяния» Полежаева? Биографический формуляр А. И. Одоевского, ссылки на биографию Помяловского, Карамзина, Горького — все это находим у того, кто утверждает, что «биография ничего не разъясняет»... Как соединить отрицание ценности переписки писателя со ссылками на письма Гоголя, Карамзина, Жуковского? Пусть объяснит тот, кто обвиняет других в «непостоянстве и непродуманности коренных принципов!»... «Не обстоятельства времени и места, не история определяют писателя: он самоопределяется... Вполне естественно рассматривать писателя, его сущность вне исторического пространства и времени» — самая излюбленная мысль г. Айхенвальда, считающего тех, кто иначе думает, схоластиками, занимающимися «пустяками». Но как же быть с Минским, который «в своих стихотворениях раскрывает чувства и думы тех русских деятелей, которые изнывали в эпоху конца 70-х годов и в годы восьмидесятые»? Как быть с А. И. Одоевским, который «перенес и воплотил в стихотворения всю декабристскую трагедию»? И по поводу чеховской скорби наш критик говорит, что «возможно и вероятно, что угнетенное общественное настроение» 80-х годов «отразилось в душе и творчестве Чехова»... И Некрасов признается «рабом среды, рабом большого города», Островский «пленником своего быта»... Характерные мотивы Глеба Успенского критик неожиданно объясняет определенным историческим моментом: «Г. Успенского нельзя понять вне истории русской общественности, его нельзя понять без крымской кампании и 19 февраля, без русско-турецкой войны; всегда видишь у него те фактические поводы и пружины, те внешние

социально-экономические силы или исторические события, которые привели отдельную личность к той или иной душевной катастрофе» и т. д. Всецело подписываемся под этими словами: историк литературы начинает свое исследование именно с этой точки зрения на творчество писателя. Но как г. Айхенвальд с своим имманентным методом попал к «лжеисторикам литературы, новым схоластикам» — понять трудно, если не видеть в его сочинениях «интеллектуальной черезполосицы, оскорбительной недодуманности и частых противоречий», т. е. как раз того, что ему почудилось в Белинском. Враг историчности заявляет, что в «стихах Карамзина есть подготовка к Пушкину», что «наша словесность, рассматриваемая как бы в разрезе, обнаруживает явственные линии духовных преемственностей». Рисую писателя как «явление астрального порядка», критик, однако, связывает его с читателем, говорит об общественном значении Некрасова, у которого «русский юноша берет первые неизгладимые уроки честной мысли и гражданского чувства», который привлекает молодые глаза к зияющей лжи общественного строя, к неправде и несчастью быта; «Гоголь (по мнению критика) стяжал особенное значение в сфере общественной, Россия никогда не забудет ему той исторической услуги, какую он оказал ей, пустив в самую гущу жизни змей своего гениального остроумия и сатиры».

Факты говорят сами за себя: в «диковинной амальгаме» сочинений Ю. И. Айхенвальда «вы можете найти все что угодно и все что не угодно».

Обвинитель, превратившись в обвиняемого, стал «Пер Гюнтом русской критики»...

Заблудившийся в теоретических построениях, то и дело противореча себе, наш критик и в других обвинениях по адресу Белинского выдает себя, свой облик, свое «ядро»: эстетическая «безвкусица», удивительная непонятливость разве не присущи тому, кто говорит, что «большое недоразумение считать Тургенева поэтом целомудренным», кто видит в авторе «Дворянского гнезда» — «Русского Боккачио», кто считает Базарова не типом, а «выдумкой», героев Гончарова — «схемами человека», сатиру Тургенева — «сплетней»; кто видит в Островском поставщика репертуара для народного театра или детей, не знавшего «творчества и вдохновения», писателя «элементарного, глубоко некультурного, с поразительным непониманием человеческой души»; кто то и дело (почти исключительно) находит в произведениях М. Горького, Л. Андреева «банальности, пошлости, плоскости»; кто в Брюсове увидел только «преодоленную бездарность»... Пройдем с сожалением мимо подобных заявлений и скажем словами самого г. Айхенвальда: «Если человек стал органически

к искусству не причастен, то пусть он лучше остается вдалеке от этой заказанной для него, ему не обетованной земли»... Можно и должно из этюда о Белинском изъять упрек о «раскрашенности стиля», «гуслярном звоне» и всецело приложить его к г. Айхенвальду, виртуозу слова, маэстро многоглагольной речи: надо было бы переписать все силуэты его, чтоб убедиться, что у него, действительно, «нет сжатости» речи, что «количество слов не соответствует количеству мыслей его статей», что «словесный разбег» его исключителен, что, пожалуй, ему «не дорого стоили слова»...

Удар, неверно рассчитанный, чаще всего поражает напавшего: г. Айхенвальд свободно получил от своей статьи этот удар. Упреки в изменчивости, противоречивости, банальности, риторики обернулись против него самого. Критик обмолвился, что Белинский «раздражает» его... Привыкши молитвенно славословить в своем Олимпе, сгибать колени перед своими богами, он стал сам не свой, попав в непривычное настроение, «заговорился», высказал «банальность одних утверждений, изменчивость других, нелепость третьих?»...

Сейчас мы убедимся, что все эти три вида утверждений г. Айхенвальд и высказал о Белинском...

Факты, указанные им, не новы, да и характеристика не блещет свежестью: многое мы уже читали, слышали у Полевого, Шевырева, Погодина и др. Если статья его поразила нас, то потому, что слишком неожиданно было увидеть г. Айхенвальда среди раболепствующих публицистов, отступников или людей, ослепленных партийной страстью, не смогших понять, на кого неслись их хулы. Критик упорно твердит, что Белинский — «рассудок несамостоятельный, сплошной объект и медиум влияний слушал и слушался, у него нечего было влияниям противопоставлять... Руководимый руководителем, аккумулятор чужого, рупор своего кружка, Белинский был человек обязанный. Больше слушатель, чем читатель, он звучным голосом герольда повторял то, что ему внушали... Он не имел своего мнения и своего знания. Надеждин, Полевой, Станкевич, Бакунин, Боткин, Герцен, Катков — все они давали ему сведения и мысли, и даже слова»*.

Легко бросать такие «праздные» слова, но надо их и доказать. Факты же рисуют Белинского совершенно иным. Представляется

* А не был ли, кстати, сам Ю. И. Айхенвальд слишком усердным читателем примечаний С. А. Венгерова в полном собрании сочинений Белинского? Не только почти все «сведения», но и многие «слова» г. А. совпадают с тем, что и как указывал известный почитатель таланта и личности Белинского: напр., мелочный факт, что Б. смеялся над теми, кто выводит «трагедию» от «козла», отмечен у Венгерова в V т., стр. 545; «беспощадная травля» Полевого на 13 стр. силуэта сливается с выражением Венгерова — «безжалостная травля» Полевого, и мн. др.

несколько странным говорить о том, что, казалось, всем давно стало непререкаемым, но, чтоб помочь критику в уяснении огромной самостоятельности мышления и оригинальности суждений Белинского, мы вынуждены сказать, что многим известно... Пройдем мимо признания М. Попова, учителя Белинского, удивлявшегося редкой самостоятельности его в юношеском возрасте. Но можно ли говорить об отсутствии «a priori» Белинского, боровшегося с Полевым, не видевшего в Надеждине (при некоторых достоинствах) ни «добросовестности и убеждения, ни любви к истине, к искусству», «бесившегося» при чтении «гадких и подлых недоумочных гаерств» по поводу статьи того о «Полтаве» и вообще о Пушкине. Станкевич решительно отвергал предположение, будто он был «цензором» Белинского, и заявлял, что он «подвергал свои переводы цензору Белинского в отношении русской грамоты, в которой тот знаток, а в мнениях всегда готов с ним посоветоваться и очень часто последовать его советам» (1836 г.). В спорах Белинский мог «предпослать себя» — в письме Станкевича (1834 г.) читаем: «Письмо твое я получил, а с ним ясный и неопровержимый вывод моей ошибки». Если бы Белинский был «человеком без духовной собственности», не мог бы Станкевич признавать «истины» в телескопских статьях своего приятеля, не сказал бы ему в первую пору увлечения Шеллингом: «Новая система, вероятно, удовлетворит тебя не более старой» и, обязанный всем Станкевичу, вряд ли бы имел право написать ему с гордостью, что он, выгнанный студент, «первый сказал русской публике несколько истин, тогда как премудрый университетский синедрион порол дичь»... Белинский не отрицал влияния друзей, брал многое от них, но надо совершенно не понимать обстановки кружка, где в спорах всех, в общем кипении мыслей трудно отметить, кто кому помог, чтоб так категорически видеть в Белинском «всегдашнюю *tabula rasa*». Бакунин жестоко спорил с «нищим студентом» (и этот упрек был брошен г. Айхенвальдом!), признавал, что Белинский «помог ему к уяснению идеи творчества», хотел «остановить», но безуспешно, когда Белинский пошел дальше своего «учителя». Белинский неоднократно указывает в своих письмах на «разность», «противоположность» своих мнений и Бакунина; в то время как последний обвинял его в «недостатке объективного наполнения», говорил, что он «не имеет права писать и печататься», Белинский «делал свое без помехи, с жаром и энергией, нисколько не чувствуя влияния настроений» своего друга (письмо 12–24 окт. 1838). Читатель и тогда, и после правильно оценил, кто вышел победителем из этого столкновения, чьи упреки были не правы, и лишь современный нам критик с непонятым упорством настаивает, что Белинский был «аккумулятором чужого», забыв о знаменательном

признании Боткина, которому хотели приписать значительную долю влияния на покойного писателя: «Что же касается до моих отношений к Белинскому, то, право, трудно решить по крайней близости этих отношений, на которую сторону было больше влияния...» Переписка друзей — кстати — наглядно свидетельствует, кто чаще был «слушателем» — Боткин или Белинский... Если б Белинский, действительно, был «женственно воспринимающим», не кипели бы долгие споры между ним и блестящим Герценом, не признавался бы Кавелин, что он «самодержавно царил» в петербургском кружке, не говорил бы Панаев, что «приятели благоговели перед ним, смотрели на него, как на своего учителя, слушали его, не переводя дыхания, принимали на веру каждую его строку, каждое его слово»; не считали бы его «авторитетом» эрудит и талантливый Ключников (— Ф —), «одной из высших философских организаций» кн. В. Ф. Одоевский, не видели бы в нем «русского Лессинга» Тургенев, «Дидерота» — Бакунин. Итак, Белинский «беспомощен»?..

Думаем, что только слепые не увидят ясного значения приведенных фактов. Да не подумает г. Айхенвальд, что мы привели признания ряда лиц из почтительного реверанса перед авторитетами: нет, не потому — но страницы, насыщенные показаниями людей, на корню видевших Белинского, сталкивавшихся с ним, непосредственно входивших в идейное общение с ним, гораздо убедительнее должны звучать, чем только наши собственные слова, наше личное мнение, которое легко может показаться строгому критику бездоказательным, «субъективным», пристрастным...

Надо ли говорить, что подлинный жрец красоты, всю жизнь живший в мире изящного, в неустанном вбирании в себя художественного, Белинский был особенно чуток к прекрасному, умел постичь красоту там, где другие, нередко одаренные инстинктом поэзии, видели мелкое, ничтожное. Как характерно: он только что прочел «Три пальмы» Лермонтова; объятый восторгом, спешит поделиться с Грановским своим восхищением, а тот предупреждает его ледяными словами: «Какой чудак Лермонтов — стихи гладкие, а в стихах черт знает что — вот хоть его “Три пальмы” — что за дичь!..» Молодой профессор восклицает: «Куда Пушкину до Шиллера!», а «нищий студент» в ответ гремит гимном в честь русского гения: «А по вашему, так Шиллеру до Пушкина — далеко кулику до Петрова дня. Какая полная художественная натура! Небось, он не впал бы в аллегорию, не написал бы галиматый аллегорико-символической, известной под именем 2-й части “Фауста”, и не был способен писать рефлектированных романов вроде “Вертера” или “Вильгельма Мейстера”... Нет, приятели, убирайтесь к черту с вашими немцами — тут пахнет Шекспиром нового мира»...

И так всегда: почти безошибочно определял Белинский новый талант, определял сущность нового дарования, с редким мастерством улавливал пафос поэзии писателя, рассыпая тонкие и меткие характеристики отдельных литературных героев, отдельных произведений. Как мог г. Айхенвальд проглядеть эту великую ценность критического гения Белинского, сказать, что он «не всегда ошибался», что у него «правды меньше, чем неправды», объяснить можно, пожалуй, только тем, что он (употребляя его же странный упрек Белинскому) «выбирает всегда одно из двух, а не два, не оба»: либо *все* хорошо, либо *все* плохо, или славословие, или безоглядные проклятия.

Критик-импрессионист, бросая обвинения Белинскому в «поражающем непонимании» им эстетического добра, рассеянного в русской литературе, выхватывает из многотомных сочинений его, писанных обычно нервно, в горячке, спешке, гоньбе лист за листом, еще не остывшим, отдельные мнения, иногда ошибочные, и строит вывод о преимущественной эстетической безвкусице Белинского. К счастью, здание, построенное на песке, рассыпается здесь, на земле (не знаем, как в астральных сферах) очень легко... Только потому, что Белинский сказал, что «Ангел» и «Узник» не войдут в собрание сочинений Лермонтова, г. Айхенвальд полагает, что тот не имеет права называться верным истолкователем Лермонтова, что он не способен понять прелесть этих стихотворений. Должны заметить, что к такому выводу г. Айхенвальд пришел, *не дочитав рецензии Белинского до конца*. Иначе он этого не написал бы в своем силуэте: вот что читаем у Белинского: «Два стихотворения г. Лермонтова, вероятно, принадлежат к самым первым его опытам; — и нам, понимающим и ценящим его поэтический талант, приятно думать, что они не войдут в собрание его сочинений, которое, слышали мы, выйдет весною. Впрочем, эти два стихотворения недурны, даже хороши, но только не превосходны, а без этого не могут быть хороши, когда под ними подписано имя г. Лермонтов». Не ослепленному читателю ясно, чем была вызвана эта рецензия: непониманием Белинского лермонтовских стихотворений или чрезмерно строгим отношением к таланту того, кто может быть только превосходным, а ведь это неизмеримая разница от «безвкусицы», «постыдной непонятливости» и т. п.

Далее, Ю. И. Айхенвальд указывает, будто бы Белинский не принял сказок Пушкина, «Капитанской дочки»?

Правда ли? А кто же рекомендовал детям «О рыбаке и рыбке» как сказку, которая, «при высокой поэзии, отличается, по причине своей бесконечной народности, доступностью для всех возрастов и сословий и заключает в себе нравственную идею»? Если Белинский строго относился к другим сказкам Пушкина (не отрицая их «прелести

стиха»), то только потому, что они казались ему подделками под народные сказки, что ему милей казались не «подновленные» сказки, а подлинные народные, записанные «под диктовку народа». Поэтому он и отверг Ершова; это соображение Белинского следовало бы принять г. Айхенвальду, и тогда иной смысл получило бы утверждение последнего, что Белинский «презрел как что-то жалкое и ничтожное “Конька-Горбунка”»... Кстати, как примирить его утверждение, что «Белинский свое хорошее и правильное получил от других — своими ошибками всецело обязан самому себе», с фактом, что Станкевич считал пушкинские сказки «ложным родом», «просто дрянью», «Конька-Горбунка» находил «несносным»?..¹

Вовсе не отрицательно отнесся Белинский и к «Капитанской дочке», как это кажется нашему критику: он только сказал: «Самая лучшая повесть Пушкина “Капитанская дочка”, при всех ее огромных достоинствах, не может идти ни в какое сравнение с его поэмами и драмами (которым, как известно, Белинский придавал исключительное, мировое значение). Это не больше как превосходное беллетристическое произведение с поэтическими и даже художественными частностями»*. При перечислении «неслыханных безвкусиц» Белинского современный критик остановился, между прочим, на взгляде его на Гончарова как объективного писателя. Недавно опубликованная переписка Гончарова² (в архиве Стасюлевича) со всей определенностью разбила то «мундирное» представление о личности этого писателя, что выпукло зачерчено в силуэтах г. Айхенвальда, и дает возможность считать точку зрения Белинского далеко не ошибочной: Гончаров — трепетный, нервный, болезненно-раздраженный, временами почти маниак, умел сжиматься, прятать себя, свое субъективное я в интимных тайниках, являться перед читателем преображенным, действительно объективным художником...

Ю. И. Айхенвальду не верится, как «чужие прославляющие уста», признающие в Белинском тонкого ценителя литературы, могли сложить такую «легенду», когда тот провозгласил Даля «решительно первым талантом после Гоголя». Считаю взгляд Белинского о «гениальности» Даля сильно преувеличенным, но в оправдание его должны привести значительные отзывы о Дале, напр<имер>, «вечноправого» (по мнению Ю. И. Айхенвальда) Пушкина, Гоголя. Последний, называя сочинения Даля «живой и верной статистикой России», не только признавал этого писателя «полезным и нужным всем нам в нынешнее время», но и говорил, что Даль «более других

* Позднее (в 1846 г.) он видел в повести «нечто вроде “Онегина” в прозе».

угодил личности его собственного вкуса и своеобразию его собственных требований». Среди писателей того времени, когда знаменитая плеяда 40-х годов едва нарождалась, Даль бесспорно занимал видное место, пожалуй, едва ли не первое: широкая панорама русской бытовой жизни, пестрый калейдоскоп повседневной действительности, развертывавшийся в его рассказах, невольно привлекали внимание; особая манера письма его «физиологических» очерков, как известно, влияла на ранние произведения даже Тургенева, признававшего, что в знании русского народа «никто, решительно никто в русской литературе не может сравниться с г. Далем».

Что же удивительного, если критик, дороживший победоносным шествием реализма в нашей литературе, воздал хвалу писателю, ныне несправедливо забытому?.. Ю. И. Айхенвальд, признавший «глубоко знаменательный социальный факт, великое завоевание справедливости» в том, что наша литература постепенно расширяла поле художественного воспроизведения жизни, спускаясь от «царей и властелинов на задворки общества, от пресыщенных к голодным», мог бы быть более справедливым к автору «Петербургского дворника», «Денщика», «Русского мужика» и т. п. очерков. Впрочем, наш критик, отыскивая у Белинского разные «безвкусицы», вообще бывает редко справедливым, обнаруживает какую-то мелочную придирчивость, иногда не считаясь с полнотой отзывов Белинского о тех или иных литературных явлениях. Упреки, что Белинский «высоко ценил» Вельтмана*, малоосновательны: надо знать, за что он ценил его и что считал неценным (см., напр<имер>, «Взгляд на рус. лит. 1847 года», где отмечаются прекрасные картины «купеческих, мещанских и простонародных нравов» при обилии с эстетической точки зрения «странностей и нелепостей» одного романа).

Более внимательное чтение отзыва Белинского о «Сцене из Фауста» сильно сократило бы, если совсем не уничтожило, странное мнение нашего критика, будто бы Белинский не понял этих сцен: ведь последний, говоря, что пушкинская пьеса «написана ловко и бойко, читается легко и с удовольствием», не хотел этим лишить ее какого бы то ни было значения: он только предпочитал пушкинскому Мефистофелю иного «демона» — демона движения, вечного возрождения, вечного обновления, не находил в его Фаусте «измученного неудовлетворенною жаждою знания человека». Этот взгляд недооценка, а строгий суд во имя высших ценностей... Не сказал бы г. Айхенвальд, будто Белинский «ужасающе не понял» Баратынского, если бы захотел

* Заметим, кстати, ссылку г. А. на самый ранний отзыв Белинского о Вельтмане (1834 г.).

быть беспристрастным, не строя своего заключения по поводу отзыва Белинского только об одном стихотворении этого поэта: кто же, как не Белинский, признал Баратынского «поэтом мысли» (с чем согласен и критик-импрессионист в своем этюде об этом поэте, как согласен и с другими мнениями, напр<имер>, о языке Баратынского), кто же, как не он, сказал, что «из всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое место бесспорно принадлежит г. Баратынскому»? Если г. Айхенвальд расходится с Белинским в общем понимании поэзии Баратынского, то это еще не доказательство, что он обладает истиной, «абсолютным мерилом», что его силуэт непререкаем. Ведь и сам обладатель чудодейственной «реакции на вечность» не верит в «палату мер и весов», определяющую «наличность и степень» гения...

Ю. И. Айхенвальд, дорожащий «вечным исканием, вечным движением» каждого человека, должен был бы считаться с ростом, развитием Белинского и не строить своих выводов на случайных выхваченных ошибках, промахах раннего периода. Если Белинский действительно не распознал только что появившегося «Скупого рыцаря», то уже в 1838 году он считал эту драму «лучшим созданием» Пушкина, сохранив этот взгляд до конца жизни. Крыловским любопытным выступает критик в своем силуэте: пристальный на мелочь, он не заметил главного; близорукий к огромному в сочинениях Белинского, он, действительно, стал жертвой странной aberrации. Ю. И. Айхенвальд не заметил (!), что Белинский — автор статей о Гоголе*, Кольцове, Лермонтове, Пушкине, что он по одному стихотворению М. предсказал талант А. Майкова, что он первый приветствовал Тургенева, Гончарова, Достоевского, Григоровича, Некрасова, Искандера-Герцена, объяснил их, рассыпав до сих пор неумершие замечания об индивидуальной силе каждого дарования. Мало того — мы утверждаем: *лучшими страницами своих силуэтов Ю.И. Айхенвальд обязан Белинскому, свое «правильное», напр<имер>, о Пушкине, Лермонтове он получил от «неистового Виссариона»*. Нет ничего ужаснее сознательного отречения ученика, получившего истину от учителя... Обильной неблагодарностью пропитана статья г. Айхенвальда: смотря на Пушкина глазами Белинского, сказать, что тот «недооценил Пушкина, не вместил Пушкина, воздал ему недостойно мало»; разделяя взгляд Белинского на Лермонтова, утверждать, что тот «не может притязать на преимущественное сплетение своего имени с именем Лермонтова»!.. Это значит или не знать Белинского, или отречься от него, или приписать себе то, что принадлежит другому... Мы просим

* Известно, что Белинский своими статьями помогал Гоголю в уяснении особенностей его творчества (см. Венгерова, Анненкова).

читателя вспомнить книгу современного критика о Пушкине (1908)³ и знаменитые статьи Белинского (1846): нетрудно убедиться, что общее представление о великом поэте первого совершенно совпадает с тем, что было высказано до него в «Отеч. записках», иногда доходя до буквального тождества... Что вызывает в нем «благоговейное изумление» пред гением Пушкина?

«Дивная всеотзывность», то, что Пушкин, «всюду сущий, переносится из страны в страну, из века в век, и нет для него иноземного и чужого», что он передумал Коран, перечувствовал Данта, посетил в идеальном путешествии своих творческих снов Европу и Восток, понял и зависть Сальери, и царицу Клеопатру и Анакреон, и т. д. Читайте у Белинского: «Поэтической натуре Пушкина ничего не стоило быть гражданином всего мира и в каждой сфере жизни быть как у себя дома; жизнь и природа, где бы на встретил он их, свободно и охотно ложились на полотно под его кистью... Прочтите его чудную драматическую поэму “Русалка”: она вся насквозь проникнута истинностью русской жизни; прочтите его тоже чудную драматическую поэму “Каменный гость”: она, и по природе страны, и по нравам своих героев, так и дышит воздухом Испании; прочтите его “Египетские ночи”: вы будете перенесены в самое сердце издыхающего древнего мира... Превосходнейшая пьесы в антологическом роде, запечатленные духом древне-эллинской музыки, подражания Корану вполне передающие дух исламизма и красоты арабской поэзии — блестящий алмаз в поэтическом венце Пушкина... “Подражания Данту” можно счесть за отрывочные переводы из “Божественной комедии”... “Начало поэмы” (“Стамбул гяуры ныне славят”) как будто написано турком нашего времени... Какое разнообразие!..»

Во-вторых, Ю. И. Айхенвальд славит Пушкина за то, что он «поэтизирует все, к чему ни прикасается», что он «в перл художества возводил все естественное и обыкновенное, и тогда в обыденной сфере являлась красота, и деревенская барышня принимала чарующий облик Татьяны». Смотрите в статье Белинского: «Заметим еще удивительную способность Пушкина делать поэтичными самые прозаические предметы... Для него все предметы были равно исполнены поэзии... И столица, и деревня, и жизнь столичного денди, и жизнь мирных помещиков, то прекрасное лицо любящей женщины, то сонная рожа трактирного слуги — все они, каждый по-своему, прекрасны и исполнены поэзии»...

В-третьих, Ю. И. отмечает «высокую простоту» стихов и прозы Пушкина: «Само естество смотрится в его творения как в зеркало. Ничего вычурного, красота без украшений, классический стиль природы и строгая чистота линий. У Пушкина каждый раз взято именно

столько слов, сколько нужно». Белинский писал: «К особенным чертам пушкинской поэзии принадлежит его художественная добросовестность. Пушкин ничего не преувеличивает, ничего не украшает, ничем не эффектирует, везде является таковым, каким был действительно... У Пушкина никогда не бывает ничего лишнего, ничего недостающего, но все в меру, все на своем месте, конец гармонирует с началом, — и, прочитав его пьесу, чувствуешь, что от нее нечего убавить и к ней нечего прибавить».

4) Ю. И. восхищается самой формой, звуками пушкинских стихотворений: «Никогда еще человеческое слово не устраивало себе такого пира, такого светлого праздника, никогда не достигало еще такого ликования и торжества, как в этом сияющем творчестве, которое претворило в звуки всю благодать и красоту мироздания». Вслушайтесь в яркий гимн пушкинскому стиху, слетавший с уст Белинского. «И что же это за стих!.. все акустическое богатство, вся сила русского языка явилась в нем в удивительной полноте... В нем и обольстительная, не выражимая прелесть и грация, в нем ослепительный блеск и кроткая влажность, в нем все богатство мелодии и гармонии языка и рифма, в нем вся нега, все упоение творческой мечты, поэтического выражения».

5) Определяя выражение и смысл поэзии Пушкина, Ю. И. находит его в синтезе эстетического универсализма и величайшей этики, в том, что Пушкин, певец красоты, свободный из свободных, «придал своей поэзии высокий этический дух, в упоительные звуки своих песен он влил содержание моральное»: «его произведения, — говорит Ю. И., — художественное оправдание Творца»; «он верит в разумный смысл мировой воли и великую силу ее любви»; «неизменный и глубокий оптимизм, неодолимое чувство добра... дышит на всех страницах Пушкина», «любовь в духовном строе Пушкина занимает первенствующее место»; «то, что он услышал и воспроизвел, вызвало в нем просветленную любовь к жизни и высокое благоволение к людям. Это не значит, чтоб он не испытал гнева и скорби; мы все помним его печаль... Но... печаль его светла... Он не проклинает “чад праха”... Ему необходимо аккордом примирения снова слить разъединенные элементы мира... Отсюда — известная черта его элегий, которые не тонут в беспросветной тоске, а завершаются любовью и надеждой. Отсюда его глубокие упования, его религия добра». Разверните теперь пятую главу в статьях Белинского о Пушкине. Вот что он находил в Пушкине почти за семьдесят лет до Ю. И. Айхенвальда: «Что составляет содержание мелких пьес Пушкина? Почти всегда любовь и дружба * как

* См. у Ю. И. Айхенвальда: «Дружба в жизни и творениях прирожденного друга и брата нашла такое светлое воплощение».

чувства, наиболее обладавшие поэтом и бывшие непосредственным источником счастья и горя всей его жизни. Он ничего не отрицает, ничего не проклинает, на все смотрит с любовью и благословением. Самая грусть его как-то необыкновенно светла и прозрачна; она умиряет муку души и целит раны сердца. Общий колорит поэзии Пушкина и в особенности лирический — внутренняя красота человека и лелеющая душу гуманность... Вся насквозь проникнутая гуманностью*, муза Пушкина умеет глубоко страдать от диссонансов и противоречий жизни... Но не в духе Пушкина остановиться на скорбном чувстве... Он не дает судьбе победы над собою, он вырывает у ней хоть часть отнятой у него отрады. Как истинный художник, он владел этим инстинктом истины, этим тактом действительности, который на “здесь” указывал ему как на источник и горя и утешения и заставлял его искать исцеление в той же существенности, где постигла его болезнь. И, право, в этой силе, опирающейся на внутреннем богатстве своей натуры, более веры в Промысел и оправдание путей его, чем во всех порываниях мечтательного романтизма... Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нежное, благоуханное и грациозное во всяком чувстве Пушкина. В этом отношении, читая его творения, можно превосходным образом воспитать в себе человека... Мы не знаем на Руси более нравственного, при великости таланта, поэта как Пушкин... Пушкин по самой натуре своей был существом любящим, симпатичным, готовым от полноты сердца протянуть руку каждому, кто казался ему “человеком”... придет время, когда он будет в России поэтом классическим, по творениям которого будут образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство»... Мы могли бы еще увеличить количество изумительных совпадений книги Ю. И. Айхенвальда и статей Белинского, но и приведенных достаточно, чтоб видеть, что критик-импрессионист не имел никакого права обвинять Белинского, будто тот «не вместил Пушкина». Или Белинский прав, и тогда скорей сознаться в своем тяжком грехе пред светлой памятью учителя — «нищего-студента» или «имманентный» метод в применении к Пушкину — ложь, неправда и тогда нет места высокомерному тону все постигшего современного критика... Мы не настолько наивны, чтоб объяснять тождественные оценки ученичеством Ю. И., «списыванием», но должны напомнить, что, по признанию самого Ю. И. Айхенвальда, «дух Белинского витал в классах его школы, носился над тетрадами его сочинений, проникал в юношеское сердце его», и бессознательно глубоко овладел

* Под этим словом Б. разумел «бесконечное уважение к достоинству человека как человека».

им и веял над ним, когда он, быть может, отмахивался, отбивался... Но красота и истина слишком сильны: Ю. И. Айхенвальд, умевший молиться им, как немногие, несмотря на заговорные заклинания против Белинского, не смог не пойти за ним... Да и как же иначе восклицающий: «Из Пушкина можно сделать религию. Хочется молиться Пушкину», неминуемо должен был разделять благоговение того, кто говорил: «Пушкин меня с ума сводит... У меня теперь три бога искусства, от которых я почти каждый день неистовствую и свирепствую: Гомер, Шекспир и Пушкин».

Ю. И. Айхенвальд впитал в себя и взгляд Белинского на Лермонтова: если характерный мотив поэзии Лермонтова он видит в безнадежной усталости, «безочаровании» поэта, то и Белинский говорил о «безотрадности, безверии поэта в жизнь и чувства человеческие»; если он говорит, что Лермонтов в то же время «любит обаяние тревоги, молнии жизни, напряженную страстность минуты; знает, что такое избыток сил и крови», то и Белинский указывал на «избыток несокрушимой силы духа Лермонтова, жажду жизни и избыток чувства»; если Ю. И. определяет сущность лермонтовской лирики как «сочетание подавленности жизни с ее напряженностью, как союз и раскол между огненной действительностью и мучительной рефлексией», то Белинскому поэзия Лермонтова тоже представлялась как сочетание «яда отрицания и хмельных обаяний жизни; неукротимых порывов, дерзких желаний», как «борьба полноты чувства и разрушающей силы рефлексии».

Мнение Ю. И., что Лермонтов «в смирении и примирении нашел синтез между подавленностью безочарования и стремительной полнотою жизни», что он шел «от демонизма к религиозности, от озлобления к прощению», находит аналогию в словах Белинского: «Из того же самого духа поэта, из которого вышли такие безотрадные, леденящие сердце человеческие звуки, из того же самого духа вышло и стихотворение “В минуту жизни трудную” — эта молитвенная, елейная мелодия надежды, примирения и блаженства в жизни — жизнью»; в признании великого критика, что за Лермонтова нельзя отчаиваться: «бурю сменяет ведро, безотрадность — надежда».

Столь обязанный Белинскому «своим хорошим и правильным», критик-импрессионист срывает такие резкие слова, в раздраженном ослеплении бранит его... Глубоким недоразумением мы считаем общий взгляд Ю. И. Айхенвальда на Белинского как литературного критика. По его мнению, тот начал хорошо, близкий, чтоб «построить русскую критику на единственно законном эстетическом фундаменте», а кончил плохо, направив «решительные шаги в сторону вульгарного и наивного утилитаризма». Пристальное изучение сочинений Белинского привело нас к совершенно иному итогу:

Белинский всегда был критиком эстетической школы, понимавшим значение исторической критики, и в общем своею деятельностью дал пример возможного синтеза обоих методов — эстетического и историко-социологического. В самом начале своей критической работы, когда Белинский говорил то, что теперь можно прочесть в наиболее ценном «теоретических предпосылок» г. Айхенвальда, когда он видел в поэзии выражение великой идеи вселенной, в поэте — соперника творящей природе, воплощающего небесное в земное и земное просветляющего небесным, и тогда уже он полагал самое главное в поэзии Державина то, что она была «полным выражением, живой летописью, торжественным гимном века Екатерины» (1834); в годы самого крайнего увлечения «немецкой» эстетической критикой он утверждал, что «в созданиях художника отражается и век, и народ, и собственная его индивидуальность», признавал значение «французской» исторической критики, без которой нельзя обойтись при анализе тех произведений, которые важны как «моменты исторического развития и развития общественности у народа» (1838), заявлял, что «искусство служит обществу, выражая его же собственное сознание и питая его индивидуумов возвышенными впечатлениями и благородными помыслами благого и истинного» (1840), что поэт — жрец красоты, созерцающий «полное славы творенье», может менять «лиру песнопения на громы благородного негодования и даже на свисток сатиры, молитву оставлять для проповеди и прошедшее, мировое и вечное забывать на минуту для современности и общества» (1841). Если в эти годы эстетизма своей критики он понимал значение историзма, то в следующем периоде, когда элементы историко-социологической критики стали звучать резче, определенной, Белинского не покидало сознание ценности эстетического восприятия художественных произведений. В 1842 году он решительно отрицает «искусство для искусства, красоту для красоты», говоря, что «искусство без разумного содержания, имеющего исторический смысл, как выражение современного сознания может удовлетворять разве только записных любителей художественности по старому преданию», что «поэт — гражданин царства современной ему действительности», что «общество хочет видеть в поэте представителя своей духовной идеальной жизни; оракула, дающего ответы на самые мудреные вопросы; врача в самом себе, прежде других, открывающего общие боли и скорби и поэтическим воспроизведением исцеляющего их»... Но и отрицая «чистое искусство», стоя на определенной точке зрения, что «искусство подчинено, как и все живое и абсолютное, процессу исторического развития», что «каждое произведение искусства непременно должно рассматриваться в отношении к эпохе, к исторической

современности и в отношениях художника к обществу, что рассмотрение жизни поэта, характера и т. п. также могут служить часто к уяснению требований искусства», Белинский в том же 1842 году писал: «определение степени эстетического достоинства произведения должно быть первым делом критики» и произнес поистине золотые слова: «Не для чего разделять критику на разные роды, а лучше, признав одну критику, отдать в ее заведывание все элементы и стороны, из которых слагается действительность, выражающаяся в искусстве. Критика историческая без эстетической и, наоборот, эстетическая без исторической будет односторонняя, а следовательно, и ложна. Критика должна быть одна, и разносторонность взглядов должна выходить у нее из одного общего источника, из одной системы, из одного созерцания искусства. Это и будет критика нашего времени, в котором многосложность элементов ведет не к дробности и частности, а к единству и общности». Какая свежесть взгляда, наша современность, словно мы не жили, не думали после Белинского: каждое слово верно, точно, все вместе — целая программа литературной критики, многоценная грамота, в которой далеко не все разобрались и в наши дни!.. Этому взгляду отец русской критики Белинский остался верен до конца своего тернистого литературного пути. Где г. Айхенвальд нашел в его сочинениях «вульгарный утилитаризм», как он мог увидеть «основную мысль Белинского в завершающий период его работы — порабощение искусства», мы не знаем: преднамеренность всегда ведет к искажению истины, и потому *Белинский-критик в представлении г. Айхенвальда это не подлинный Белинский*, определенной личностью выступающий в десяти томах своих сочинений. В последний год своей жизни Белинский самым решительным образом протестовал против «искусства дидактического, поучительного, холодного, сухого, мертвого, которого произведения не иное что, как риторические упражнения на заданные темы», говорил, что «искусство прежде всего должно быть искусством, а потом уже оно может быть выражением духа и направления общества в известную эпоху», что «поэт должен выражать не частное и случайное, но общее и необходимое, которое дает колорит и смысл всей его эпохе», что «в сфере искусства никакое направление гроша не стоит без таланта», что «какими бы прекрасными мыслями ни было наполнено стихотворение, как бы сильно ни отзывалось оно современными вопросами, но если в нем нет поэзии — в нем не может быть ни прекрасных мыслей и никаких вопросов, и все, что можно заметить в нем, это разве прекрасное намерение, дурно выполненное». Белинский никогда не забывал «законов искусства», в своем классическом завещании «Взгляд на русскую литературу 1847 года» рассыпал так много ценных идей касательно

роли критика, значения поэзии, сущности поэтического творчества, что мы до сих пор живем ими: до гениального Потемки «нищий студент» положил основание тем трудам исследователей, кои изучают искусство с психологической и социологической точки зрения.

Только мертвые не могут ощутить живого духа Белинского, и если критик-импрессионист серьезно обмолвился фразой: «всякий мертвый, подходя к живому, убивает», то, действительно, смертью пахнет от *его* Белинского... Наше счастье, что Белинский подлинный — жизнью живет живого читателя, заражает истиной своих слов всякого, кто жаждет правды, кто не кривит душой... Лишь ослепленная предубежденность подсказала г. Айхенвальду, будто Белинский требовал от поэта «заказанной скорби», лишил его свободы: нет, подлинный Белинский и в последней своей статье считал вдохновение, «бессознательное чувство» главным в гениальном поэте, «органы не той или другой партии или секты, а сокровенной думы всего общества», считал искусство преображением жизни, но не копией ее, указывал, что поэт должен «уметь явления действительности провести через свою фантазию, дать им новую жизнь», и, несомненно, подписался бы под своими словами, сказанными в 1842 году, что «свобода творчества легко согласуется с служением современности, для этого не нужно принуждать себя писать на темы, насиловать фантазию; для этого нужно только быть гражданином, сыном своего общества и своей эпохи, усвоить себе его интересы, слить свои стремления с его стремлениями; для этого нужна симпатия, любовь, здоровое практическое чувство истины, которое не отделяет убеждения от дела, сочинения от жизни». И в этой драгоценной формуле видеть «духоту и теснину»!.. Невероятно, читатель, не правда ли?..

Столь же невероятным, неприложимым к настоящему, не фальсифицированному Белинскому представляется нам утверждение Ю. И. Айхенвальда, что «Белинский сочувственно поддерживал русский шовинизм и официальные каноны», что он «начал не с отрицания начал, а с политических утверждений» и почти ими кончил, и после письма к Гоголю, в 1848 году славословя русское правительство... Начал Белинский, как известно, пламенным памфлетом против «официальной» действительности — «Дмитрием Калининым» *.

* Возможное возражение г. Айхенвальда, что он не имел в виду чисто литературных произведений Белинского, а говорил о нем только как о критике отпадает: Ю. И. в своем силуэте говорит о Б. и как о «реальном человеке», и как о литер. критике и социальном мыслителе. Надо брать писателя в целом: ведь не писал же Ю. И. только о стихотворениях Тютчева — указывал и на политические статьи его...

Верный рыцарь принципа: «жизнь есть действие, а действие есть борьба», он всю жизнь был абсолютно чужд казенным славословиям, в самую острую пору пресловутого «примирения с действительностью» был не своим среди поклонников уваровской формулы. Напрасно Ю. И. кивает на последнюю страницу «Литературных мечтаний»: еще С. А. Венгеров высказал догадку, что к ней приложил руку редактор Надеждин⁴. Если мы припомним, что как раз во время написания знаменитой статьи кружок Станкевича, где вращался Белинский, отрицательно относился к квасному патриотизму, так что К. Аксакову даже больно было слышать «односторонние нападения на Россию», то предположение о непринадлежности известных строк Белинскому делается вполне возможным: в самом деле, если он был «рупором кружка», он не мог быть «расподом формулы “православие, самодержавие, народность”»; автор «Дмитрия Калинина» не мог одновременно иначе мыслить... Конечно, у Белинского не было в первую пору определенного политического мирозерцания (много ли трезвости было в сенсимонизме самого «Александра Великолепного?»), но что идеалы свободы, борьбы были ему присущи, — безусловно. Весь вопрос в том, что Белинский всю жизнь решал проблему совершенной личности — вначале с этической точки зрения, впоследствии с социальной, первое время признавая ценность личности в ее самосовершенствовании, потом — в ее работе над усовершенствованием общественных форм. Кто не помнит страстных, трепетных страниц в первой же статье Белинского о двух путях жизни, о назначении человека «дышать для счастья других, жертвовать всем для блага ближнего, родины, для пользы человечества»? Кто без волнения может читать его огненные слова о бесконечном совершенствовании отдельной индивидуальности и всего человеческого рода, коими заканчивается рецензия на книгу Дроздова «Опыт системы нравственной философии»?

И в тот кратковременный период увлечения гегельянством, когда, полугодовалый пролетарий, Белинский писал «Очерки Бородинского сражения» (1839), против политики, конституции, революционных переворотов (1837), он был глубоко чистой, не корыстной натурой, видел смысл жизни не в застое, квиетизме, а в очищении святая святых человека, его внутреннего Я от скверны жизни, говорил: «Обратим внимание на себя, возлюбим добро и истину, путем науки будем стремиться к тому и другому», видел назначение русских образованных людей — «быть апостолами просвещения»; думал, что «гражданская свобода должна быть плодом внутренней свободы каждого индивида, составляющего народ, а внутренняя свобода приобретает сознанием» — другими словами, звал к моральному

совершенствованию, нравственному подвигу, веря, что человек, совершенствуя себя, необходимо будет совершенствовать и все, что близко к нему. Похоже ли это на казенные фанфары? Неужели Белинский и раболепствующие публицисты его времени братья по своим чаяниям и убеждениям?.. Слишком известно, как Белинский мыслил в годы, когда «социальность» стала его девизом, как мог он говорить, не стесненный цензурой в знаменитом письме к Гоголю. Что же заставило сказать г. Айхенвальда, будто Белинский в 1848 году был консервативным в общественном смысле? Судя по его цитате, он имел в виду статью Белинского по поводу «Сельского чтения». Так ведь надо же было написать, за что Белинский считал николаевское царствование «самым замечательным после Петра Великого»: за то, что «обращено особенное внимание на положение и быт народа и сделаны попытки, обещающие прекрасные результаты, на его, так сказать, воспитание» (Белинский имел в виду учреждение министерства государственных имуществ, с чем связывались надежды многих людей той эпохи на освободительное разрешение крестьянского вопроса)... Пусть Белинский заблуждался в своей вере в Николая I, но это было верой человека, исстрадавшегося при виде «гнусной расейской действительности», жадно ловившего каждый слух о готовящихся реформах, истомившегося социальной скорбью... Герцен и другие поняли «чистоту ошибки» Белинского 1839 года, так проклинавшего потом свое «примирение», поняли все те люди, которые не могли простить двух стихотворений Пушкину, которые отверглись от Гоголя за его «переписку с друзьями», — не простил лишь современный нам эстет... Герцен, считавший своего друга «самой революционной натурой», видевший в идеале Белинского — свой идеал, свою церковь и родительский дом, в котором воспитались «наши первые мысли и сочувствия» — «западный мир с его наукой, с его революцией, с его уважением к лицу, с его политической свободой, с его художественным богатством и несокрушимым упованием»; Некрасов, признававший, что Белинский «гуманно мыслить научил, едва ль не первый заговорил о равенстве, о братстве, о свободе»; Салтыков, воспитавшийся, по собственному признанию, на статьях Белинского, наполнявших сердца скорбью и негодованием; многочисленные признания современников Белинского, людей последующих поколений, — все в один голос говорило, что Белинский борец за свободу личности, общества, за раскрепощение народа, энтузиаст свободы, вождь русской интеллигенции, руководитель общественного мнения страны — для критика-импрессиониста все это «легенда»; закрыв глаза, он твердит, что «панегирики власти звучат на всем протяжении статей Белинского»...

Чудовищность этого утверждения столь ясна, что, пожалуй, можно было бы и не упоминать, как «власть» подлинная, официальная смотрела на своего «рапсода» (?), как комендант Петропавловской крепости поджидал Белинского в «тепленький каземат», как Дуббельт жалел, что не удалось сгноить Белинского в тюрьме за его смертью, как за чтение письма его к Гоголю людей приговаривали к смертной казни, как долго впоследствии имя Белинского было запретным, его сочинения считались опасными, вредными... Только упрямая предубежденность может не чувствовать огненного трепета исканий Белинского, может говорить, что он «менял мирозерцания», «хронически и без явной трагедии отступался» от убеждений. Нет, у Белинского было одно мировоззрение, задушевное, главное: быть достойным божественной идеи, почившей на человеке, стать идеальной, совершенной личностью, слить свое Я с вселенной, человечеством, родиной. Давно уже указано, что он менял не убеждения, а впечатления о мире, что органически шел ход его идейного развития, что всю жизнь он вращался в кругу неизменной темы о Боге, человечестве и человеке. Каждая страница его жизни насыщена изумительной силой убежденности, обрызгана чистейшей кровью великого сердца, беспокойной совести, трепетной мысли. «Многострадальная тень» реет над сочинениями величайшего правдоискателя, пламенные строки зажигали, продолжают возбуждать и теперь. Разверните те статьи, где Белинский писал о смысле жизни, назначении человека, вы сразу почувствуете толчок, удар, увлечение, попадете в плен стремительных слов, и, зачарованные убежденностью учителя, пойдете за ним, освеженные, чистые... «Виссарион-отступник»!.. Как поднялась рука написать эти ужасные строки! Как не дрогнуло сердце!.. «Без явной трагедии» отступался от убеждений тот, чьи письма наполнены именно трагическим, кто, по словам непосредственно видевших его, «таял в муках», был «мучеником своих сомнений и мыслей», кого «сомнения лишали сна, пищи, неотступно грызли и жгли»? * «Отступления Белинского от темы в область посторонних вопросов элементарны»?! ** Применимо ли это к тому, чьи статьи, по свидетельству Герцена, давали новое «воззрение на мир, на жизнь» всей мыслящей России, кто, по словам Кавелина, «воспитал целые поколения не одним отрицанием отжившего, отсталого, негодного, но и поднятием мысли и настроения на высоту нравственного идеала, служившего каждому точкой опоры в практической жизни», кто, по признанию третьего современника, в каждой статье давал «целую теорию воспитания,

* Будто бы только в письмах, а не в статьях Белинский признавался в своей «изменчивости»? См. сочинения его, т. 5, стр. 445; т. 4, стр. 482.

** См., напр., о женском вопросе во второй статье о Пушкине (1843–1846 гг.).

общественной и личной нравственности», кому «обязаны были своим спасением» все те честные доктора, следователи, учителя, которых в провинциальной глуши встретил Иван Аксаков? А признания людей 60-х годов — Стоюнина, Ушинского и многих, многих других разве не говорят о невероятности утверждения г. Айхенвальда, некогда также «зажигавшегося об яркие искры» Белинского*.

Нет почти ни одного утверждения критика-импрессиониста, которое не вызывало бы на возражения, фактическую отповедь. Он, напр<имер>, упрекает Белинского, что тот «слишком цитирует», «слишком пересказывает содержание книги». Кто помнит превосходный психологический комментарий к «Ревизору», роману Лермонтова, пушкинским произведениям, тот может только с удивлением пожать плечами на подобное мнение. Мы не говорим уже о том, как странно слышать этот упрек в устах автора книги о Пушкине (1908), того, кто сознается, что не может не говорить о Пушкине не пушкинскими словами, кто просит простить, что он чрезмерно часто повторяет их в сочетании с своей бледной речью. Ему радостно Пушкиным «оправдывать, украшать себя», а другой не должен чувствовать того же восхищения, благоговейной радости!.. Как справедливо, логично!..

Бросается упрек, будто Белинский, «критик, других критиков называет критиканами». Подумайте, современный критик, как иначе можно назвать тех, кто считал Пушкина только версификатором, увлекающим легкомысленных людей, кто кричал, что Гоголь — забавный писатель, «Горе от ума» ниже комедии Загоскина, кто утверждал, что стихи годны только для сбыта вздорных и нелепых мыслей... А ведь Белинский именно этих «критиков» имел в виду (т. V, стр. 483–4)... Не хочется говорить о странности мнения, будто Белинский «травил» все время Полевого: подлинные статьи его красноречиво утверждают противное... «Пустой шумихой» называет г. Айхенвальд те определения поэзии, которые он нашел в рецензии Белинского на стихотворения Лермонтова: да разве эти слова — «поэзия — это светлое торжество бытия; это вечная, никогда неудовлетворимая жажда все обнять и со всем слиться; это тот божественный пафос, в котором сердце наше бьется в один лад со вселенной», страстное убеждение, что «весь мир, все цветы, краски и звуки, все формы природы и жизни могут быть явлением поэзии, но сущность ее — то, что скрывается в этих явлениях, живит их бытие, очаровывает в них игроу жизни», да разве это не задушевнейшее верование каждого

* И в 1901 г. Ю. И. писал: «У Ушинского была искра того душевного огня, котормы пламенел Белинский» и т. д. (Вестн. восп., № 3).

способного к эстетическому восчувствию и самого Ю. И. Айхенвальда, претендующего на почетное звание критика-эстета?..

На утверждение, будто Белинский «говорил обо всем, не зная ничего», что он был «несведущ», мы ответим только ссылкой на сочинения *подлинного* Белинского да словами ученого современника Белинского (Грановского): «Противнее всего было слушать суждения о невежестве Белинского!..»⁵

Кошунственные обвинения — Белинский «внутренний мещанин, без благородства, без хорошей природы, без инстинкта правды» — свидетельствуют об отсутствии чувства правды, способности понять, почувствовать душевную прелесть, кристальную чистоту того, в чьем присутствии «каждый прятал гниль, которую носил в своей душе, как можно дальше», чей образ носили в сердце, как святыню, кто был другом Станкевича, Герцена, Грановского, Некрасова, Тургенева... Многое невероятного мы услышали от г. Айхенвальда, много странного прочитали мы в его силузете, и сам автор почувствовал это, признав на последней странице (противореча всем остальным страницам), что было «нечто большое» в Белинском, если мог он оставить после себя прекрасный след, завещать своему имени лучистый ореол... Да, русская культурная традиция бережно хранит светлый образ Белинского, русская интеллигенция давно считает его в числе лучших сынов своих, давно определила его значение как критика, публициста, трибуна, всегда из крайних крайнего, русская литература давно вписала его имя в лучшие свои страницы, нарекла его своим оракулом, истолковавшим ее сокровенный смысл... *

Мятежный, огненный, неистовый Белинский может быть чуждым только тем, кто ни на что иное не годен, как на елейные молитвы, кому «легко задремать в жизни» **, кто восторги видит только в красоте, чьи взоры обращены в космические сферы, кто жалеет, что гражданская социальность убивает эстетику, кто не может допустить мысли, что красота не только во вселенной, но и в борьбе, общественных движениях ***, не только в переживаниях уединенной личности, но и в массах, одушевленных порывом социальной страсти, кто стал трезвенней, «зрелей» в политических взглядах, кто уже пережил пору жизни, когда гражданская задача рисовалась в юношеской красоте

* «Все наши нравственные интересы, вся духовная жизнь наша сосредоточивалась до сих пор и еще долго будет сосредоточиваться исключительно в литературе: она живой источник, из которого просачиваются в общество все человеческие чувства и понятия», — проникновенно писал Белинский в 1846 г.

** Ю. И. Айхенвальд, «Пушкин», стр. 132.

*** См. отрицательное отношение г. Айхенвальда к «народничеству» (вып. II, 163).

идеализма и героизма*, кто клонится к закату духовной жизни, в ком уходящая жизнь произвела нравственное опустошение, в ком «потускнели все впечатления бытия, опошлись и поблекли чувства», в ком «духовная старость оледенила все пылкие стремления, все благородные замыслы»... ** Все же кто сохранил душу живую, в ком не замерло вечно-тревожное, кто любит прекрасное, кому претит вандализм разрушения драгоценных приобретений культуры, кто истинный друг родной литературы, те никогда не забудут Белинского, его болезненно-радостного убеждения: «*Литературе российской — моя жизнь и моя кровь*»...



Е. А. ЛЯЦКИЙ

Господин Айхенвальд около Белинского

«Белинский, это — легенда. То представление, которое получаешь о нем из *чужих прославляющих уст*, в значительной степени рушится, когда подходишь к его книге непосредственно...» ***.

Так начинает Айхенвальд свою знаменательную для этого критика статью о Белинском. И нужно отдать ему справедливость: он с большой последовательностью подбирает те свои субъективные *впечатления* от Белинского, которые суммировали его общее *представление*.

«Белинскому не дорого стоили слова. Никто из наших писателей не сказал так много праздных речей, как именно он...»

«Белинский ненадежен. У него — шаткий ум и перебои колеблющегося вкуса...»

«Учитель убеждений компрометировал убеждения — тем, что хронически и без явной трагедии от них отступался».

«Рассудок несамостоятельный... человек без духовной собственности... он чужд той непосредственной цельности, того современного

* Ю. И. Айхенвальд, «Силуэты», вып. III, изд. 2, стр. 157.

** *ibidem*, вып. I, стр. 224 (первое издание).

*** Ю. Айхенвальд. Силуэты русских писателей. Вып. III. М. 1913.

миросозерцания, того инстинкта правды, которые, уже сами по себе предупреждая сознательное построение идеалов, оберегают человека от чрезмерно грубых заблуждений и от таких взглядов, какие граничат с нравственной близорукостью...»

Из таких выражений и определений, ярко характеризующих «стиль» статьи г. Айхенвальда, складывается у читателя отчетливое представление о... г. Айхенвальде, но не о Белинском. Белинского, живого, подлинного, взволнованного и вечно спешащего, страдающего и любящего, сливающегося с миром и томящегося исканием хотя бы одной чуткой, близко приникающей человеческой души, — нет в изображении г. Айхенвальда. Вместо Белинского у него — безжизненный манекен, расписанный сусальным золотом, испещренный черными мазками. Даже не копия, а какой-то лубок с фантастического оригинала. И потому за *настоящего* Белинского не обидно. И не хочется спорить с г. Айхенвальдом, не хочется указывать ему, что и в его *частных* определениях критических особенностей Белинского он много недооценил, иное не понял, об ином судил непостижимо легко. И невольно хочется определить статью г. Айхенвальда его собственными словами: «неровный маятник его *легкомысленных мыслей* описывал чудовищные круги». Круги эти описывал не Белинский, а г. Айхенвальд.

Это у него «неровный маятник» мыслей, — неровный, потому что в *своей* сфере, в характеристиках писателей, сродных ему по духу и близких по времени, г. Айхенвальд — ценитель вдумчивый, чуткий, хотя подчас изыскано-чопорный и высокомерный. Но здесь он слишком положился на свой «импрессионизм» и слишком пренебрег «историзмом» как методом исследования. Бывают случаи, когда подмена этого метода «импрессионизмом» приводит или к парадоксальному извращению фактических данных, или к непростительному легкомыслию. И настоящий случай — один из самых ярких.

Г. Айхенвальд обошелся с Белинским как будто он его видел только вчера и, после долгой беседы о литературе, остался крайне недоволен его критическими суждениями и вкусами. Белинский решительно не выдержал испытания со стороны строгого г. Айхенвальда. «Он Белинский начал хорошо, а кончил дурно. Он начал глубокомысленно — отзвуками Шеллинга, Фихте, Гегеля...»

«...Он понимал тогда всю ценность умозрительной философии и всю недостаточность эмпиризма; он принимал тогда автономную природу искусств, его самодовлеющее и бескорыстное значение; он воодушевленно провозглашал истину, что “поэзия не имеет цели вне себя”».

Но в конце 1840 года, констатирует г. Айхенвальд, в Белинском совершилась перемена. «Белинский направил решительные шаги в сторону вульгарного и наивного утилитаризма».

Хотя та область, куда Белинский направил «решительные шаги», обозначена г. Айхенвальдом аляповато и неточно, но мысль его ясна. И если бы г. Айхенвальд остановился на развитии только этой мысли, спорить с ним было бы напрасно. Спор «эмпиризма» с тем особым видом «идеализма», выразителем которого является в данном случае г. Айхенвальд, давно уже обнаружил свою явную бесплодность: средняя линия между двумя этими направлениями не будет найдена никогда. Но г. Айхенвальд посвятил большую часть своей статьи тем критическим взглядам и тем сторонам духовного облика Белинского, которые сохраняют свое автономное значение, которые, независимо от того, каких философских взглядов держался Белинский в тот или иной период своей жизни, до сих пор не давали повода заподозрить его в недостатке критической проницательности, в умственном падении, в отсутствии оригинальности и особенно — в общественном консерватизме.

«Белинский вообще недооценил Пушкина...»

«Белинский в оценке этих имен (Пушкина, Грибоедова, Гоголя), в их начертании на скрижалях русской литературы, выказал, наряду с верными суждениями, столько уклонений, колебаний, ошибок, столько поражающего непонимания, что на преимущественное сплетение своего имени с их именами он претендовать не может».

«Это он расчистил дорогу публицистической критике, губительному течению тенденциозности...»

Странно и как-то неловко повторять за г. Айхенвальдом подобные суждения. Неловко не из пиетета к Белинскому, но по слишком уж явному отсутствию в них хотя бы элементарного объективизма. Ну, неужели же доказывать критику-импрессионисту наших дней, что Белинский был одним из важнейших строителей того храма литературы, в котором г. Айхенвальду теперь так светло и просторно и так удобно отыскивать на колоннах и сводах отдельные щербинки и уклоны, следы подневольно-торопливой, но всегда художественно-завершенной работы? И следует ли вообще доказывать это тем, кто сознательно отстраняет от себя мысль о лице как деятеле известной эпохи, кто разрушает историческую перспективу, кто, быть может, несколько запоздало, берется за «книги» интересующего писателя с предубеждением, с раздражением против образа, созданного «чужими прославляющими устами?»

Да, Белинский был не всегда последователен в своих суждениях. Но знает ли г. Айхенвальд, чем в каждом отдельном случае объясняется эта непоследовательность?

Да, Белинский приобретал свои знания, как и все, что он писал и делал, «волнуясь и спеша», и брал философию не из первых рук. Но назовет ли кого-нибудь г. Айхенвальд, кто в эпоху Белинского мог лучше, ярче, сильнее его дать толчок обывательской косности и указать развивающейся литературной мысли пути от замкнувшейся, после смерти Пушкина, в круг эпикурейского эстетизма «пушкинской школы» — к широким и светлым перспективам реалистического (в старом понимании этого слова) «гоголевского» направления.

Да, Белинский совершил огромную эволюцию от Фихте и Шеллинга, через Гегеля, к Фейербаху. В литературе он начал тоже с чистого эстетизма, с выспренного представления о поэзии, как даре богов, о важности служения искусству для искусства. Но по своей натуре это был чистый демократ, для которого презрение к грубой действительности, требовавшееся эстетическим кодексом, было невозможно, неосуществимо, противоестественно.

Как бы ни оценивали гг. аристократы искусства это, несомненно, им не нравящееся свойство Белинского, они должны понять, что демократическая стихия его души не могла не сказаться в его творчестве, потому что она была присуща всему складу его сознания, всему направлению его воли. В ущерб или не в ущерб эстетической углубленности Белинского, его устами сама жизнь одержала победу над «чистым» искусством, но привела она не к «разрушению эстетики» (оно имеет другие истоки), а к величайшему ее расцвету в литературно-общественной деятельности Тургенева, Некрасова, Льва Толстого.

Какой мучительный переворот произошел в душе Белинского, когда он осознал себя и понял, что служение действительности не только не колеблет высокого призвания литературы, но дает ей силу неотразимого убеждения и власти, — в этом г. Айхенвальд не судья. Будучи чужд Белинскому по темпераменту, по основным приемам искания жизненной правды в художественном образе, г. Айхенвальд меряет его на свой рассудочный, сухой и отвлеченный аршин, укладывает его на Прокрустово ложе своих, по существу ограниченных требований, как бы нарочито сжимаемой мысли, бредущей в книге чуждого ей писателя только по истертым и неровным буквам, но духа по ним не воскрешающей...

Мыслью Белинского можно только *изучать*, но постигать его нужно *чувством*. Мыслить можно, расчлняя общие признаки на частные, взвешивая, оценивая в меру критического чутья и остроты анализа. Но *постичь* Белинского таким расчленением нельзя. Его трепещущую мысль, его живое слово, пытливый творческий дух не уложит ни в какие коробочки, не подогнать под этикетки самой хитрой лабораторной системы. В нем все слитно, все едино, все согрето

и освещено горением духа, мятущегося в поисках красоты, наиболее близкой, наиболее родной той высшей правде жизни, на знамени которой написано общее благо, любовь к людям как правило житейской морали, как идеальный призыв к вечным огням свободы, равенства и братства. И это так естественно, что все, имевшие счастье приобщиться к инстинкту этой правды в страстных речах живого Белинского, отзывались на них горячею любовью, пламенным одушевлением всего, что было лучшего в их натуре. А среди таких людей были лица, во всяком случае не уступавшие г. Айхенвальду в критической пронизательности и чуткости. Припомните только отзывы о Белинском Некрасова, Тургенева, Герцена, даже скупого на сердечные излияния автора «Обыкновенной истории». Нити любовного, признательного воспоминания о Белинском оборвались с их уходом из мира, но остались их заветные слова, ярко свидетельствующие, что если бы Белинский и не был тем, чем он остался для нас, если бы он не написал ни слова и только прошел бы по стогнам мира *светящимся* человеком, то и тогда никто из людей, знавших цену великому и прекрасному, не сказал бы, что жизнь Белинского протекла бесплодно.

Но Белинского не приемлют и не могут приять все те, кто замкнулись либо в переживаниях эстетической самоуглубленности, либо в созерцательном ожидании небесных откровений. И г. Айхенвальд хорошо сделал, что подвел читателя так близко к краю пропасти, разделяющей Белинского и всех его неприемлющих.

До статьи о Белинском еще могло казаться, что г. Айхенвальд ищет своей дороги, своей срединной тропы меж крайностей двух направлений. Но здесь, на его встрече с Белинским, сказалось с яркой очевидностью, что здесь он — далеко не один, даже не индивидуален, что в его статье выразилось не только его личное, убежденное, надуманное, но целое мирозозерцание, отличающее определенную группу лиц, определенный темперамента и склад понятий.

Таким же точно образом и Белинский приобретает в его освещении все признаки родового понятия, в котором олицетворялось все, отрицаемое г. Айхенвальдом и его настоящими и будущими единомышленниками: искания общественной почвы для истолкования художественных произведений и публицистический элемент его статей последнего периода как прогноз назревающих задач во всех сферах осознания действительной жизни — умственной, художественной, политической... Для любителей аристократизма в искусстве, конечно, не может быть приемлем Белинский, ненавидящий все исключительное, кроме исключительности таланта, все кастовое, все отвлекающее душу от действия, все ведущее к сентимен-

тальной развинченности и дряблости. И хотя я далеко не связываю поклонения г. Айхенвальда идеалу чистого искусства с равнодушием к той общественной атмосфере, среди которой этот культ является как бы синонимом удаления от шума житейской борьбы на горные вершины созерцания и воздыхания, тем не менее я беру на себя смелость утверждать, что между отрицанием триединой формулы у г. Айхенвальда и неприемлемостью для него «публицистических» стремлений Белинского есть нечто необъяснимое, недосказанное, быть может, даже, — да простит мне суровый обличитель «неистового Виссариона», — нечто недодуманное. Косвенное тому доказательство я нахожу в самом тоне, в самом стиле статьи г. Айхенвальда. Обычно сдержанный, он не может скрыть своего негодования и досады. С одной стороны, понятно: Белинский, взлетевший было на такие высоты романтического эстетизма, совершил независимый, с точки зрения г. Айхенвальда, грех — спустился на землю и ушел в «толпу», вмешался в грубую действительность. Но с другой стороны: если вы допустите, что Белинский был по натуре демократ и *общественник*, то гнев ваш напрасен: он покинул чуждую ему область и ушел, чтобы слиться с родною стихией. Вы можете не приять его таковым, каким он оказался в действительности, но негодовать и сыпать по его адресу обидные и несправедливые обвинения за то, что он не пришелся вам по вкусу, — дело и недостойное, и праздное.

Постараемся быть прежде всего справедливыми и не будем забывать, что толпа, не только обывательская, но и литературная, всегда рукоплещет, когда на ее глазах принижается великое и славное имя. Может быть, теперь, как никогда, слово уважающего себя литератора должно быть ответственно, обдуманно и веско. Г. Айхенвальд, в своем негодовании, предъявил к Белинскому обвинение в общественном консерватизме, даже реакционности. Придравшись к одной фразе, сказанной Белинским по особенному случаю, при обстоятельствах, менее всего дававших право на буквальное понимание этой фразы, г. Айхенвальд допустил утверждение, что Белинский — «сочувственно поддерживал русский шовинизм и официальные законы». Уже в печати было указано г. Айхенвальду, в каком смысле следует понимать инкриминируемые слова, и я на этом останавливаться не стану. Замечу только, что г. Айхенвальд, мне кажется, просто не сумел расшифровать того скрытого смысла статьи Белинского, который, даже пройдя тиски цензурного мяла, означал: старые основы общественной жизни заржавели; мы настоятельно ждем реформы, неизбежность и близость которой очевидна; ее осуществление делает *«царствование»* (т.е. эпоху) Николая I *«в отношении к внутреннему развитию России»* — «самым замечательным после царствования

Петра Великого». Я хочу думать — г. Айхенвальд в этом не разобрался, как не разобрался он и в других «эзоповских» особенностях стиля Белинского, и я решительно отказываюсь верить, чтобы здесь могла быть допущена г. Айхенвальдом заведомая подмена одного понимания другим.

Апологетом «триединой формулы» Белинский не был никогда. Примирительное отношение к действительности в начале его литературной деятельности носило умозрительный характер, а каким апологетом он мог являться в конце — об этом хорошо было известно в свое время Дубельту¹. Если бы т. Айхенвальд не пренебрег и в этом отношении историей, он, конечно, не допустил бы извращения политической мысли Белинского и постарался бы взять эту мысль в целом, а не из случайных фраз и эпитетов.

Но каковы бы ни были истинные побуждения г. Айхенвальда, его органическая ненависть к Белинскому оказалась так сильна, что он утратил даже присущий ему обычно литературный такт. Но все это напрасно. Белинской стоит слишком высоко и слишком далеко от всех, его не приемлющих. Им не дотянуться до него, чтобы низринуть его с пьедестала, на который он поставлен общественным признанием. Памятник ему созидался людьми, для которых слова его — не риторика, и обаяние его личности — не легенда.

Легенда?! — Теперь раскроют эту легенду подлинные письма Белинского, в их чистом виде, без комментариев, без разъяснений, без участия «прославляющих» оценок. Вчитайтесь в них просто, как в человеческий документ, и скажите: много ли вы найдете во всей нашей истории откровений, которые, подобно письмам Белинского, вскрывали бы с таким поразительным бесстрашием все бесконечное разнообразие душевных движений, мучительно сталкивающихся в борьбе, стремительно пылких и колеблющихся, человечески-низменных и непостижимо-высоких? Откровений, где стремление к совершенствованию сделало бы такой громадный переход от полусознательных блужданий души, буруеваемой страстями и жаждой счастья, до полного самоотречения, до сурового аскетизма, в котором все отдано идее общего блага и ничто не оставлено в жертву себялюбивым и низким побуждениям? Кто с таким упорством стремился разрушить роковую грань между «я» и «не я» и с такой остротой анализа доискивался правды, объективной, очищенной от всего личного в самых глубоких, самых интимных отношениях к людям и к миру?

«Кто мне скажет правду обо мне, если не друг, а слышать о себе правду от другого — необходимо», — писал Белинский Боткину 22 ноября 1839 года. Он никогда не хотел быть обличителем из-за

ширмы, монахом, выглядывающим в окно исповедальной будки. Он требовал от других помощи себе в познании его собственной души. «Друзья мои — будем бояться крайностей, как зла: оставим каждого жить, как он хочет, не будем читать друг другу поучений, посылать буллы, требовать отчета, но не побоимся же и замечать друг другу то, чего каждый в себе не хочет и не может замечать, только будем это делать с уважением к личности, деликатно, с любовью...»

«Во всяком человеке — два рода недостатков — природные и налипные; нападать на первые и бесполезно, и бесчеловечно, и грешно, нападать на наросты — и можно, и должно, потому что от них можно и должно освобождаться...»

О, мы знаем, выходящие ныне в свет письма Белинского дадут повод любителям копаться в «наростах», забрасывать имя Белинского разоблачениями подонков его человеческого естества. Но затемнить чистый и высокий образ им не удастся, ибо благородное и высокое всегда сохранит свою могучую власть над людьми. И мы охотно отдаем гг. разоблачителям все «наросты» души Белинского, а литературным критикам, что пойдут по следам г. Айхенвадьда, все противоречия критических суждений Белинского, все заблуждения, даже ошибки. Пусть наступит время, когда вся критическая деятельность Белинского останется лишь как пройденный этап, в исторической памяти поколений, — его письма переживут его журнальные статьи.

Он жил, как и мы, в эпоху глухого безвременья и общественного угнетения, когда слабым и малодушным так хотелось бы убежать куда-нибудь от торжествующей наглости, воинствующего невежества, всего удушливого кошмара современности, чтобы открыть душу впечатлениям возвышающим и чистым. Но он ушел от этих соблазнов и осудил в себе чары, державшие в плену его свободную мысль. То, что представлялось ему раньше беспредметным, общим, поэтически-неведомым, конкретизировалось для него, прояснилось, и, среди борющихся течений, он нашел путь, по которому, недавний пророк горных вершин, он направил честно и бодро свою ладью писателя-гражданина. «Жизнь одно общее, — писал Белинский в 40-м году, — а мы Китайские тени, волны океана — океан один, а волн много было, много есть и много будет, и кому дело до той или другой?..» Но мысль не даром «жгла» душу его, она привела его к убеждению, что «океан» — это человечество, во имя счастья которого стоит трудиться, бороться и жить. Сколь знаменательно было для него это убеждение, и далось ли оно ему без труда, без громадной борьбы внешней и внутренней — об этом пусть судят те, для которых написанное им — не одна лишь раскрытая книга с холодными

черными знаками по белому полю, но раскрытое сердце, горячее, отзывчивое и любящее.

Кто этого не почувствует и не оценит, тот никогда не поймет, почему имя Белинского для людей, с надеждой ожидающих грядущего дня, стало заветным символом, чем-то бесконечно дорогим и близким. Врагам его никогда не удастся развенчать его духовный облик, никогда не удастся доказать, что трагедия его великой души — не трагедия, а дело им совершенное — поблекший цветок, и самый образ — так, как он рисуется нам, — фантазия, легенда...



А. Б. ДЕРМАН

Айхенвальд о Белинском

Ю. Айхенвальд. Силуэты русских писателей.

Выпуск III, изд. 2-е, значительно дополненное, с 20 портретами.

Изд. т-ва «Мир». М., 1913

Настоящее издание III выпуска «Силуэтов» г. Айхенвальда дает в переработанном виде те характеристики, какие входили в первое издание и, кроме того, включает в себе семь новых характеристик: Белинского, Герцена, Карамзина, Жуковского, Бальмонта, Минского и Виктора Гофмана. Наиболее удачной из них является очерк, посвященный Бальмонту, но наибольший интерес со стороны читателей, конечно, вызовет «силуэт» Белинского.

Печальный интерес... Г. Айхенвальд «развенчивает» Белинского. Это, разумеется, его право, — право писателя и даже обязанность: обязанность не утаивать всей правды. Но вопрос в том, как г. Айхенвальд использовал свое право, как отнесся к своей обязанности, — трудной и сложной: развенчать творца русской критики и одного из идейных отцов русской интеллигенции?

Первое впечатление — отсутствие скромности. «Белинский, это — легенда, — начинает свой этюд автор. — То представление, какое получаешь о нем из чужих прославляющих уст, в значительной степени рушится, когдаходишь к его книгам непосредственно». А так

как эта легенда о Белинском просуществовала долгие годы вплоть до того дня, как ее разрушил г. Айхенвальд, то выходит, что либо никто до него непосредственно не подходил к книгам Белинского, либо, подойдя к ним и разрушив легенду в сердце своем, не нашел в себе мужества открыто об этом заявить.

И содержание статьи г. Айхенвальда не дает, к сожалению, права считать эту фразу — фразой: содержание именно таково, что если бы оно было правдой, то, действительно, книги Белинского являлись бы злейшими врагами его, по Айхенвальду, незаслуженной, какой-то априорной славы. Посудите сами: «Белинскому не дорого стоили слова. Никто из наших писателей не сказал так много праздных речей, как именно он... Учитель убеждений компрометировал убеждения — тем, что хронически и без явной трагедии от них отступался. Человек без духовной собственности... не однажды впадал он в такие ошибки, которые вызывают не только идейный отпор, но и моральное негодование... Это он, боясь оказаться не передовым, не просвещенным, робко соблюдая кажущиеся требования современности, временное поставил над вечным, изменил искусству, Нерееде, Пушкину... Если вычесть у Белинского чужое, то останется очень мало — останется живой темперамент, беспредметное кипение, умственная пена. Небрезгливый, непривередливый, — за то, правда, и не запасливый, не скупой, — он писал о чем угодно, и кажется, ему было все равно, о какой книге отозваться, — хотя бы даже о бумаге» — вот малая доля криминального реестра, составленного г. Айхенвальдом...

Казалось бы, что, *разоблачая* Белинского, надлежало его именно разоблачать, в прямом значении слова, т. е. одну за другою совлекать с него те пышные одежды, те радужные оболочки, в которые он был облачен, которые это пустое место в литературе превратили в ее рыцаря, в отца, в ее легенду. Этот путь был *единственно законным* в данном случае.

Г-н Айхенвальд его, однако, отверг и предпочел путь перечисления ошибок, которые Белинскому довелось совершить... Как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает; Белинский же так много делал, что а priori можно допустить у него немало и ошибок, и вот г. Айхенвальд старательно плетет из них длинную цепь обвинений.

Ясное дело, что нет критика и нет ученого, которого нельзя было бы «уничтожить» таким приемом. Центр тяжести в суждениях о творчестве критика — в установлении перспективы, того, что эта критика открыла и что дала возможность открыть. Стало быть, необходимо не только сопоставить неустаревшую правду критика с его ошибками, но еще определить происхождение последних, их

удельный вес и характер. В критике, как в науке, иные ошибки нужнее, значительнее и плодотворнее, чем суждения безошибочные.

Но даже в той, незначительной, по сравнению с поставленной задачей, работе, которую проделал г. Айхенвальд, — он натворил нечто невообразимое! С какою-то этической беспечностью он совершенно голословно, не гнушаясь чтением в сердцах, приписывает происхождение теоретического суждения Белинского (столь естественное в исторической перспективе) его боязни «оказаться не передовым, не просвещенным». Противно фактической правде он заявляет, что Белинский «вопреки молодости, нарушая ее психологические нравы, не с протеста, не с отрицания начал, а с политических утверждений». Между тем ведь «начало» Белинского, пьеса «Дмитрий Калинин» послужила причиной увольнения автора из университета. Г. Айхенвальд утверждает, что Белинский «пустил в наш литературный оборот противоположное истине утверждение, будто Гончаров писатель объективный», между тем как субъективность Гончарова (т. е. «истина»), во-первых — вопрос текущего литературного спора, во-вторых — самые понятия о «субъективности» и «объективности» писателя претерпели за это время большие изменения, и в-третьих, наконец, объективность Гончарова сделалась вопросом в тесной связи с биографическими данными, совершенно неизвестными Белинскому.

Это называется обнаружением ошибок! Но еще хуже обстоит дело в тех случаях, где, действительно, ошибается Белинский, а не Айхенвальд... «Из отношений Николая I к Пушкину, — упрекает г. Айхенвальд, — Белинский помнит лишь то, что “венценосный Отец народа” в умирающего поэта “Своего” пролил отрадный елей благодарности, мира и спокойствия о судьбе осиротелых любимцев его сердца». Позвольте, однако, что же сам-то Пушкин запомнил из отношений к нему Николая I? Разве не сказал он перед кончиной — «весь был бы его», т. е. Николая, не говоря уже о стихах, где он «хвалу свободную» слагал тому же Николаю I и возлагал надежды «славы и добра» на его царствование. «Он (т. е. Белинский) не хранил достойного молчания, — нет, он сочувственно поддерживал русский шовинизм и официальные каноны». Но имейте же смелость быть последовательным, обвиняйте в том же и автора «Клеветникам России!» Неужели Пушкин имеет перед Белинским какое-то печальное преимущество легкомыслия, избавляющее его от ответственности за одинаковые с ним поступки? Белинский-де совершал все эти криминалы «после декабристов», — отягчающее его вину обстоятельство, выражаясь языком обвинительных актов, столь уместным в данном случае. А. Пушкин не только «после декабристов», но и в качестве

личного друга многих из них... Разве, однако, можно так ставить такие обвинения? Разве приличествует и допустим здесь критерий современности?

Той же цены и упреки Белинскому в том, что он «ужасающе не понял мудрого Баратынского», недооценил пушкинскую Татьяну, «Капитанскую дочку» и т. д. Да, да, недооценил того-то, переоценил то-то, все это так, но каким чудовищным непониманием сущности критики, сущности знания, мысли, искусства вообще — отдаст от этого требования, чтобы Белинский знал не меньше того, что теперь известно г. Айхенвальду! Эти его упреки равносильны ведь тому, как если бы нынче гимназист VI класса принялся укорять Аристотеля: как же это вы, милостивый государь, позволили себе утверждать, что природа боится пустоты? Стыдно-с! Давление воздуха, а не «боится пустоты»! — Ведь если бы все оценки Белинского сохранили до наших дней всю ту «верность» и правильность и все значение, какое они имели для современников, то это означало бы не то, что Белинский был совершенный критик, но то, что замерло, погибло движение теоретической и художественной мысли в России, это было бы не триумфом Белинского, а позором последующих поколений... И вся беда в том, что г. Айхенвальд этого не понимает. С комической наивностью он, например, замечает: «Если он (т. е. Белинский) — энтузиаст, то почему же, смущенно спрашиваешь себя, у него так много риторики и гусярного звона, и раскрашенного стиля, и все эти “на праве вечности”, и “ученый, бескорыстно орошающий потом чела своего ниву знания?” Почему свою увлеченность он выражает не в задушевной и дорогой простоте, почему о любимом он говорит не естественно?»

На все эти «почему» — совестно отвечать, ибо ответы представляют из себя азбучно-элементарные указания на то, что риторическое для наших дней было абсолютно адекватно энтузиазму Белинского 75 лет назад, что «орошающий потом чела своего» и было в ту пору в высшей степени естественно, что «дорогой простоты» стиля Чехова тогда не было и быть не могло, что смешно и нелепо упрекать Белинского в том, что он не пишет языком Бориса Зайцева. И все это — не обмолвки, все это крайне характерно для г. Айхенвальда: «понятие о вечности литературы, — пишет он о Белинском, — было ему вообще чуждо, и он думал, что на все книги, направления, стили есть только временный спрос и временный к ним интерес, что теперь, например, “Ленора” не могла бы доставить Бюргеру громкого имени». Однако, если устранить из этой тирады вульгаризм, принадлежащий не Белинскому («временный спрос»), то окажется, что этот новый криминал — есть величайшая правда и заслуга Белинского, что именно из понятия о вечности *литературы* вытекало понятие

о временности и смертности *стиля*; и что именно г-ну Айхенвальду совершенно чуждо то понятие, в котором он отказал Белинскому, коль скоро он полагает, что существует какой-то вечный стиль. А он, к сожалению, это полагает. Лучше бы г. Айхенвальд справился по книгам современников, коробил ли их «риторический» и «раскрашенный» стиль Белинского, коробил ли этот стиль Пушкина, Лермонтова, Тургенева, такого сдержанного человека, как Гончаров, Одоевского, Некрасова, такого, не менее г. Айхенвальда компетентного в оценке энтузиазма, человека, как Константин Аксаков, или как Герцен, с его благоговением перед Белинским, с его отзывом о знаменитом письме к Гоголю: «Это — гениальная вещь» (см. Анненков, т. III), — такая историческая справка, быть может, напомнила бы ему, что кроме стиля есть еще и история стилей, что помимо плоскости, в которую он уткнулся — существует еще и перспектива.

А узнав о существовании последней, он, быть может, удержался бы от таких фраз, как «на преимущественное сплетение своего имени с их (Пушкина, Грибоедова, Гоголя и Лермонтова) именами он притязать не может», или «в Пушкине он увидел “русского помещика”, но не заметил главного, солнечного, бессмертного и прошел мимо его подлинного величия». Разно можно объяснить эти фразы, но, несомненно, самое выгодное для г. Айхенвальда объяснение возможности таких фраз в безнадежной атрофии чувства перспективы. Подметить ошибки Белинского через 75 лет после их совершения и аннулировать ими то неисчерпаемое море правды, из которого черпают и много еще десятилетий будут черпать ищущие познания корифеев нашей литературы — это вещь неслыханная. Надо быть зоилом от природы, чтобы не почувствовать поистине пророческой гениальности в таком чуде критического прозрения Белинского, как предсказание славы Достоевскому по его первой повести, с ее исступленным стилем, таким внезапным и чуждым господствующей форме, — не почувствовать этого, но поморщиться от «потом чела своего»...

«И хотя действительный Белинский, — пишет в заключение г. Айхенвальд, — совсем не то, что легендарный, но плодотворна и дорога была самая легенда его, миф о Белинском, его идеализованное лицо. И не легко все-таки отворачиваться и от того реального человека, который имел же, значит, в себе нечто большое, если мог оставить после себя такой прекрасный след и сумел завещать своему имени такой лучистый ореол». — Какое ужасное самоосуждение в этих серьезных словах! Ведь между этим «нечто большое» и «человек без духовной собственности» — непереходимая пропасть! Понимает ли г. Айхенвальд, к чему обязывало его это «нечто большое?» И если он

сам верит, что оно было, то где оно в его статье? Как мог он оставить без анализа тот «лучистый ореол», который сияет над этим «человеком без духовной собственности», над «Виссарионом-Отступником?»

«Дух его витал в классах нашей школы, носился над тетрадями наших сочинений, и через этих учителей, о него зажигавшихся, на него молившихся, проникал в юношеские сердца», — так пишет г. Айхенвальд о Белинском — и вот с какой степенью серьезности он простился с кумиром юности. А между тем этому поклоннику Пушкина подобало бы, пожалуй, иное. Ведь в своем «разоблачении» Тургенева он, не колеблясь, написал: «невеликодушный, он тосковал, плакался и, такой поклонник Пушкина, никак не мог повторить за ним этого простого и ясного, и благородного: “простимся дружно, о юность легкая моя!”»

Если бы г. Айхенвальд с большим благоговением и внимательностью отнесся к своей юности и ее святыням, то, во имя Белинского, он не скрыл бы своего охлаждения к нему, но простился бы с ним не на запальчиво написанных 14 страничках, а в процессе тщательного, сознающего свою ответственность анализа.

И несомненно, что дух времени промчался по печальным страницам г. Айхенвальда: это не дух *свободомыслия*, как иным может казаться, но дух позорного легкомыслия.



Ю. И. АЙХЕНВАЛЬД

Спор о Белинском. Ответ критикам

Мой очерк о Белинском («Силуэты русских писателей», вып. III, изд. второе) вызвал очень резкие возражения и протесты. И поскольку они составляют проявление оскорбленной любви к Белинскому, я их понимаю, ценю, и мне самому грустно и тяжело, что своей отрицательной характеристикой знаменитого критика я сделал больно искренним почитателям его памяти. Но, разумеется, иначе поступить я не мог, потому что обязан был сказать свою правду, чего бы это ни стило мне, чего бы это ни стоило другим.

Однако в том возмущении, какое встретил мой силуэт, большую роль сыграли также непомерный консерватизм и слишком почтительное отношение к авторитетам — то «литературное идолопоклонство», с которым боролся когда-то — оказывается, не вполне успешно — сам Белинский и о котором он так хорошо говорит в своих «Литературных мечтаниях»: «...мы и в литературе высоко чтим табель о рангах... Говоря о знаменитом писателе, мы всегда ограничиваемся одними пустыми возгласами и надутыми похвалами; сказать о нем резкую правду у нас — святотатство. И добро бы еще это было вследствие убеждения! Нет, это просто из нелепого и вредного приличия или из боязни прослыть выскочкою, романтиком... Знаете ли, что наиболее вредило, вредит и, как кажется, еще долго будет вредить распространению на Руси основательных понятий о литературе и усовершенствований вкуса? Литературное идолопоклонство! Дети, мы все еще молимся и поклоняемся многочисленным богам нашего многолюдного Олимпа и нимало не заботимся о том, чтобы справляться почаще с метриками, дабы узнать, точно ли небесного происхождения предметы нашего обожания».

Действительно, уже первый отклик на мою статью, фельетон П. Н. Сакулина в «Русских ведомостях» («Белинский — миф», от 3 окт. 1913 г.), содержит в себе прямое запрещение спорить о Белинском и относиться как-нибудь иначе к нему, чем благоговейно. *«Его (Белинского) место давно уже определено нелицеприятным судом истории; его имя — свято. Давно уже Белинский находится за чертой досягаемости. Все, что можно было сказать в хулу Белинскому, уже сказано гораздо ранее г. Айхенвальда. Развенчать Белинского нельзя»* — вот что заявляет уважаемый автор.

Слишком понятно, как в устах ученого странны, опасны и нелиберальны эти душевные слова. Ведь для науки нет никого святого, наука не канонизирует, и заколдованным кругом, «чертой досягаемости» она из своих предметов не обводит ничего. Если считать Белинского иконой, святым и если думать, что история сказала о нем последнее, окончательное слово (хотя у науки последних слов не бывает), то в таком случае, но только в таком, я в самом деле виноват уже тем, что решился посмотреть на него собственными глазами. Если Белинскому можно лишь молиться («его имя свято», или, как до П. Н. Сакулина сказал Некрасов, «учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени»), то о нем вообще нельзя и разговаривать; и в таком случае, но только в таком, г. Сакулин со своей религиозной точки зрения прав, если моя характеристика для него не характеристика, а «хула», если моя статья для него не статья, а «по поступок» (да еще «невероятный»), если я не просто свое мнение высказал, а «осмелился

посягнуть» на тень прославленного критика, если я всем этим возбудил его «моральное негодование».

Правда, П. Н. Сакулин в только что появившейся второй статье своей «Психология Белинского» («Голос минувшего», IV, 1914 г.) говорит, что он «позволил себе» употребить слова, которые я выше подчеркнул, в ином смысле, именно в том, что хотя «можно и даже должно продолжать изучение» Белинского, «но в основном история уже произнесла свой приговор о нем»; и объявлять, будто Белинский — легенда, низводить его «на степень мелкой душонки и плохого журналиста» (квалификация не моя) так же странно, как нелепо было бы «сводить к нулю Ломоносова или Пушкина». Из этой поправки видно, что в первый раз П. Н. Сакулин свою подлинную мысль выразил очень дурно, совершенно не теми словами. Кроме того, в «Голосе минувшего» он не объяснил, как же надо в «Русских ведомостях» понимать «хулу», «невероятный поступок», «осмелился посягнуть», «моральное негодование»: этих выражений своих г. Сакулин и не истолковал, и не взял обратно.

Н. Л. Бродский в статье «Развенчан ли Белинский?» («Вестник воспитания», I, 1914) тоже называет мои обвинения последнего «кощунственными», точно Белинский — Бог или божествен.

* * *

Свободу исследования почти все оппоненты мои ограничивают и тем, что мои взгляды на Белинского пытаются опорочить ссылкой на авторитеты, т. е. на тех, по большей части выдающихся и знаменитых людей, которые Белинского прославляли. Так, П. Н. Сакулин напоминает, что славу нашего критика творили Станкевич, Герцен, Тургенев, Кавелин, кн. В. Ф. Одоевский, Некрасов, Ап. Григорьев и мн. др.: «все это — люди, которых из десятка не выкинешь»; в опровержение моей мысли об умственной несамостоятельности Белинского он, между прочим, апеллирует даже и к школьному учителю его, М. М. Попову, и к «постороннему наблюдателю», Лажечникову, которых «еще в детстве поражал» Белинский «упорной самостоятельностью характера, стойкостью и критической настроенностью своего ума». Так, г. Евг. Ляцкий в статье «Господин Айхенвальд около Белинского» («Современник», I, 1914) сообщает, что среди людей, пламенно и любовно относившихся к Белинскому, «были лица, во всяком случае не уступавшие» мне «в критической пронизательности и чуткости» (Некрасов, Тургенев, Герцен, Гончаров). Так, Н. Л. Бродский, хотя и «проходит мимо» отмеченного П. Н. Сакулиным признания

учителя М. М. Попова, но «проходит мимо» таким образом, что об этой педагогической оценке все-таки упоминает, а главное, свое убеждение в умственной независимости Белинского он тоже обосновывает цитатами из Станкевича, Кавелина, Панаева, Ключникова, Одоевского, Тургенева, Бакунина. Правда, г. Бродский предупреждает меня, что он это делает не «из почтительного реверанса перед авторитетами», а потому, что слова лиц, непосредственно общавшихся с Белинским, «на корню видевших его», должны звучать для меня гораздо убедительнее, чем только его, г. Бродского, собственные слова, его личное мнение, которое-де может показаться мне «бездоказательным, “субъективным”, пристрастным».

Мне от души жалко, что скромность Н. Л. Бродского ввела его здесь в глубокое заблуждение: как раз наоборот, малодоказательными для истории литературы, субъективными и пристрастными я считаю именно суждения о Белинском его друзей, собеседников и приятелей, а беспристрастным и не «субъективным» счел бы самостоятельное мнение о нем Н. Бродского, который, понятно, с Белинским лично не был знаком, а, подобно мне, знает только его писания и его письма, отчего и может судить о его литературной деятельности объективно, «научно», вне личной симпатии или антипатии.

Третьи лица в тяжбе за Белинского вообще ни при чем; я их решительно отвожу и на этой позиции боя не принимаю. В своем силуэте я не считался с теми, кто Белинского хвалит, но зато не опирался и на тех, кто его осуждает; я позволил себе стать с Белинским лицом к лицу, безо всяких посредников: это — мое право, и мне всегда хочется пить из своего стакана, хотя и маленького. Убежден, что в интересах умственной гигиены так же точно поступают и мои противники.

Вот почему не выражением духовного бюрократизма и местничества, а только непоследовательностью с их стороны я признаю то, что, например, г. Ляцкий своему ответу на мою статью дает презрительное заглавие: «Господин Айхенвальд около Белинского» или что г. Иванов-Разумник тоже позволяет себе дешевое удовольствие глумления, трижды играя на сопоставлении имен: Виссарион Белинский и Юлий Айхенвальд.

* * *

Прежде чем меня опровергать, критики моего силуэта устанавливают, что мое понимание Белинского далеко не ново. «Нет ни одного нового факта... Аргументация — самая избитая, которой уже не раз пользовались разные хулители Белинского», — утверждает

П. Н. Сакулин. Ему вторит Н. Л. Бродский: «Факты, указанные им (т. е. мною), не новы, да и характеристика не блещет свежестью». «Хоть бы одно новое доказательство, хоть бы один оригинальный аргумент, хотя бы новое освещение старых известных фактов! Ни того, ни другого, ни третьего», — огорченно восклицает г. Иванов-Разумник («Правда или кривда?» в «Заветах», XII, 1913 г.).

В самом деле, — новых фактов в моем распоряжении не было; да их, впрочем, и не могло быть, потому что не открыты были какие-нибудь новые сочинения Белинского. А если, как заявляют мои оппоненты, я не дал даже нового освещения старых фактов, если я говорю о Белинском нечто избитое и несвежее, то становится совершенно непонятным, из-за чего же поднят весь этот шум вокруг моей статьи, из-за чего же излился на меня весь этот фиал негодования?

Некоторые мои противники сами видят, что здесь есть какая-то непоследовательность, и стараются оправдать ее. Так, если мой очерк «поразил» г. Бродского, то потому, что «слишком неожиданно было увидеть г. Айхенвальда среди раболепствующих публицистов, отступников или людей, ослепленных партийной страстью, не могших понять, на кого неслись их хулы».

Это замечание, в свою очередь, поражает меня: в своей рецензии Н. Л. Бродский, не только за мой силуэт Белинского, но и за мои писания вообще, дает мне как литератору такую уничтожающую характеристику, так черно рисует мой нравственный авторский облик, так неумолимо отказывает мне даже в писательской честности и чувстве общности и чувстве правды, что лишь в силу противоречия с самим собою мог он изумиться, увидев меня в дурном обществе.

Г. Иванов-Разумник тоже, поговорив о моей статье, потом спрашивает себя, стоило ли о ней вообще говорить. На свой вопрос он отвечает утвердительно: «Стоило, и по многим причинам. Главная из них, как это ни странно, та, что широкая масса “читающей публики” знает и Белинского и вообще наших “классиков” только понаслышке и по школьным воспоминаниям... Вот почему и статья г. Ю. Айхенвальда может для них (для широких читающих кругов) оказаться вполне по плечу: субъективные “импрессии” этого критика, который терпеть не может Белинского, покажутся этим читателям объективной истиной».

С этим я согласен: не многие знают Белинского, — даже не все из его защитников (я не говорю о специалистах по истории литературы). И г. Иванов-Разумник вполне прав, если думая, что моя характеристика знаменитого критика иным покажется объективной истиной, как раз поэтому («главная причина») не замалчивает ее, а разрушает.

Мои оппоненты вообще правы в том, что взгляд мой на Белинского вовсе не представляет в нашей литературе какой-то новости, какой-то неслыханной ереси (на это, впрочем, я в данном случае, как и в остальных, даже и не притязал: меня никогда не интересует, новы ли мои воззрения или нет, — были бы верны). Нехорошо только то, что мои противники, хотя и непреднамеренно, вызывают у несведущих читателей такое представление, будто о Белинском дурно отзывались одни лишь дурные — обскуранты, «раболепствующие публицисты, отступники», «ослепленные партийной страстью», «Шевырев, Булгарин, Погодин и компания», те, которые, по неизящному выражению г. Иванова-Разумника, «много лет подряд жевали старую жвачку о “недоучившемся студенте”»*.

На это я скажу: во-первых, ни Шевырева, ни Погодина, ни Полевого я к обскурантам и отступникам не причисляю; во-вторых, среди отрицателей Белинского есть люди, которых к темному стану России не припишут и мои критики.

И прежде всего я назову два великих имени: Толстой и Достоевский.

«Ну, какие мысли у Белинского! — пренебрежительно заявил Толстой в 1903 году сотруднику “Южного телеграфа”. — Сколько я ни брался, всегда скучал, так до сих пор и не прочел» («Книжный вестник», 1903 г., № 3)**.

В книге В. Лазурского «Воспоминания о Л. Н. Толстом» на стр. 37 воспроизводится такой отзыв Толстого: «Белинский — болтун; все у него так незрело. Правда, у него есть и хорошие места; он — способный мальчик... Но если Белинского и других русских критиков перевести на иностранные языки, то иностранцы не станут читать: так все это элементарно и скучно»¹.

Я сознаюсь: тягостно как-то цитировать известные письма Достоевского к Страхову (1871 г.), но мои критики вынуждают меня к этому; да и в интересах дела — напомнить то мнение Достоевского о Белинском, которое выражено в интимной форме частного письма и потому содержит в себе наибольшую меру искренности.

Достоевский пишет: «Белинский (которого вы до сих пор еще цените) именно был немог и бессилен талантишкой, а потому и проклял Россию и принес ей сознательно столько вреда (о Белинском еще много будет сказано впоследствии, вот увидите)... Я обругал

* Только П. Н. Сакулин (и только во второй своей статье) приводит в кратких выдержках немногие образцы отрицательных суждений о Белинском — то, что в некоторых случаях он называет «дерзкими вылазками».

** Эту цитату, как и ту дальнейшую, которая относится к Ю. Самарину, я беру из книги С. Ашевского «Белинский в оценке его современников», с. 318, 64–66.

Белинского более как явление русской жизни, нежели лицо. Это было самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни. Одно извинение — в неизбежности этого явления... Вы никогда его не знали, а я знал и видел и теперь осмыслил вполне... Он был доволен собой в высшей степени, и это была уже личная смрадная, позорная тупость. — Вы говорите, он был талантлив. Совсем нет, и, Боже! как наврал о нем в своей статье Григорьев! Я помню мое юношеское удивление, когда я прислушивался к некоторым чисто художественным его суждениям (наприм<ер>, о “Мертв<ых> душах”); он до безобразия поверхностно и с пренебрежением относился к типам Гоголя и только рад был до восторга, что Гоголь *обличил*. Здесь, в эти 4 года, я перечитал его критики. Он обругал Пушкина, когда тот бросил свою фальшивую ноту — и явился с повестями Белкина и с Арапом. Он с удивлением провозгласил ничтожество повестей Белкина. Он в повести Гоголя “Коляска” не находил художественного цельного создания и повести, а только шуточный рассказ. Он отрекся от окончания “Евгения Онегина”. Он первый выпустил мысль о камер-юнкерстве Пушкина. Он сказал, что Тургенев не будет художником, а между тем это сказано по прочтении чрезвычайно значительного рассказа Тургенева “Три портрета”. Я бы мог вам набрать таких примеров сколько угодно для доказательства неправды его критического чувства и “восприимчивого трепета”, о котором врал Григорьев (потому что сам был поэт). О Белинском и о многих явлениях нашей жизни судим мы до сих пор еще сквозь множество чрезвычайных предрас-судков»².

Я не верю, чтобы кн. Вяземский, друг Пушкина, писатель ярко-го ума, талантливый, в суждениях независимый и оригинальный, не был искренен и руководился литературными или партийными сче-тами, когда так последовательно отвергал Белинского и не находил в себе терпения «дочитывать до конца ни одной из его ужасно-длин-но-много-пустословных статей». В свою записную книжку он вносит такие строки: «Есть у нас грамотеи, которые печатно распинаются за гениальность Белинского. Нет повода сомневаться в добросовестно-сти их, а еще менее заподозреть их смиренномудрие; стараться же вразумить их и входить с ними в прение — дело лишнее; им и книги в руки, т. е. книги Белинского. Белинский здесь в стороне; он умер и успокоился от тревожной, а может быть, и трудной жизни своей. Он служил литературе, как мог и как умел. Не он виноват в славе своей, и не ему за нее ответствовать. Глядя на посмертных почитате-лей его, нельзя не задать себе вопроса, до каких бесконечно-малых крупинки должны снисходить умственные способности этих господ, которые становятся на цыпочках и карабкаются на подмостки, чтобы

с благоговением приложиться к кумиру, изумляющему их своею величавою высотой» (Полное собрание сочин. кн. П. А. Вяземского, VIII, 139). По поводу воспоминаний о Белинском Тургенев пишет кн. Вяземский Погдину: «Оставим Тургеневу превозносить Белинского, идеалиста в лучшем смысле слова, как он говорит... Приверженец и поклонник Белинского в глазах моих человек отпетый, и просто сказать петый дурак... Тургенев просто хотел задобрить современные предержавшие власти журнальные и литературные. В статье его есть отсутствие ума и нравственного достоинства. Жаль только, что это напечатано в “Вестнике Европы”» (X, 265)³.

Благородный Юрий Самарин дает следующую удивительно меткую характеристику Белинского, — и прекрасный, учтивый тон ее еще больше оттеняется последовавшим на нее грубым ответом нашего критика. Белинский, по Самарину, «почти никогда не является самим собою и редко пишет по свободному внушению. Вовсе не чуждый эстетического чувства (чему доказательством служат особенно прежние статьи его), он как будто пренебрегает им и, обладая собственным капиталом, живет в долг. С тех пор как он явился на поприще критики, он был всегда под влиянием чужой мысли. Несчастливая восприимчивость, способность понимать легко и поверхностно, отречься скоро и решительно от вчерашнего образа мыслей, увлекаться новизною и доводить ее до крайностей, держала его в какой-то постоянной тревоге, которая наконец обратилась в нормальное состояние и помешала развитию его способностей. Конечно, заимствование само по себе не только безвредно, даже необходимо; беда в том, что заимствованная мысль, как бы искренно и страстно он ни предавался ей, все-таки остается для него чужою: он не успевает претворить ее в свое достояние, усвоить себе глубоко, и, к несчастью, усваивает настолько, что не имеет надобности мыслить самостоятельно. Этим объясняется необыкновенная легкость, с которою он меняет свои точки зрения и меняет бесплодно для самого себя, потому что причина перемен — не в нем, а вне его. Этим же объясняется его исключительность и отсутствие терпимости к противоположным мнениям; ибо кто принимает мысль на веру, легко и без борьбы, тот думает так же легко навязать ее другим и редко признает в них разумность сопротивления, которого не находит в себе. Наконец, в этой же способности увлекаться чужим заключается объяснение его необыкновенной плодовитости. Собственный запас убеждений вырабатывается медленно, но когда этот запас берется уже подготовленный другими, в нем никогда не может быть недостатка. Разумеется, при такого рода деятельности талант писателя не может возрастать»⁴.

Тот же Юрий Самарин на высокую оценку Белинского Герценом отозвался словами пушкинского Дон Жуана перед статуей Командора: «Какие плечи! что за Геркулес! А сам покойник мал был и тщедушен!»⁵

Да, прав Самарин: всегда памятники больше покойников...

Можно было бы еще много процитировать отрицательных мнений о Белинском, произнесенных умными и чистыми людьми, видными деятелями русской культуры.

Насколько своим силуэтом я не сказал о Белинском чего-то неслыханно дерзостного и для специалистов неожиданного, легко усмотреть и из того, что незадолго до моей статьи, в 1912 году, появилась в Н.-Новгороде книжка П. И. Вишневого «Н. В. Гоголь и В. Г. Белинский», где отведены последнему вполне осуждающие страницы и деятельность его охарактеризована как «сплетение лжи, краснобайства и фразерства» (стр. 139). Правда, у большинства рецензентов книжка г. Вишневого встретила пренебрежение; но это еще не говорит против нее⁶.

Все эти чужие слова я привожу совсем не в подтверждение своих (как я уже сказал, мне чужого не надо), а в опровержение той мысли моих оппонентов, будто отрицание Белинского является признаком раболепствующего обскурантизма и отжило свой век.

* * *

Иных критиков моих, например г. Ч. В-ского («Вестник Европы», XII, 1913 г.), особенно поразило то, что я не вижу в Белинском, как я выразился, «органического либерализма, тех предчувствий и влюбленных чаяний свободы, которые так обязательны для высокой души, и особенно для души молодой». П. Н. Сакулин по этому поводу изумляется, что я хочу «быть *plus royaliste, que le roi*»; г. Ч. В-ский иронически называет меня «свободолюбивым» (хотя я решительно не могу припомнить, где, когда и в чем проявил я несвободолюбие).

В связи с этим важно исправить одну существенную логическую ошибку П. Н. Сакулина. Условно соглашаясь на минуту с моим пониманием Белинского, он спрашивает, чем же в таком случае объяснить славу нашего критика: «Может быть, панегиристы Белинского страшно увлеклись, цена его либерализм? Ведь у нас есть эта замашка — расхваливать человека за либеральный образ мыслей». И на свой вопрос г. Сакулин отвечает: «Нет, и эта причина не объясняет нам дела: Ю. И. Айхенвальд убежденно говорит, что “Виссарион Отступник”, эта сума переметная, был либералом весьма сомнительного свойства».

Так вот, логическая ошибка моего рецензента в том, что он смешивает здесь панегиристов Белинского со мною: я-то действительно думаю, что Белинский был сомнительный либерал, но панегиристы его думали и думают противоположное; оттого, ясное дело, мое отрицание либерализма в Белинском не может служить опровержением гипотезы, что другие создавали ему славу именно за предполагаемый либерализм.

А самую гипотезу эту, недоверчиво предложенную П. Н. Сакулиным, я, со своей стороны, признаю очень правдоподобной. Я глубоко убежден, что самой значительной долей своих лавров Белинский обязан своей репутации либерала (и даже радикала); и если бы не этот катехизис русского либерализма, знаменитое письмо к Гоголю (как раз его, по свидетельству Ив. Аксакова, многие учителя знали наизусть, как раз оно лежало у них «будто Евангелье»), — Белинский далеко не пользовался бы такою славой и я не встретил бы из-за него столько беспощадных противников.

Я всецело соглашаюсь с замечанием П. Н. Сакулина: «У нас есть эта замашка — расхваливать человека за либеральный образ мыслей»; и то я очень одобряю, что в подтверждение своего взгляда он цитирует самого Белинского — из того же письма к Гоголю: «У нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта», и «скоро падает популярность великих талантов, искренно или неискренно отдающих себя в услужение православию, самодержавию и народности». «И публика тут права» (я несколько продолжаю сделанную П. Н. Сакулиным цитату)... «всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не простит ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще в зародыше, свежего, здорового чутья, и это же показывает, что у него есть будущность».

Я только считаю гибельной ошибкой со стороны Белинского, что этому явлению он сочувствует, а не вооружается против него всей душой. Ибо тяжкие удары нашей культуре нанес и наносит этот хорошо подмеченный и, к несчастью, приветствуемый Белинским факт; ибо нет большего греха против идеальных ценностей, чем такое вопиющее искажение оценок, такое унижение таланта, такая подмена эстетики публицистикой; ибо до сих пор страдает наша мысль от этой духовной фальсификации. И то, что Белинский не был либералом в истинном смысле слова, т. е. что у него не было широты духа и настоящей духовной свободы, — это я утверждаю, между прочим, и на основании как раз той цитаты, которую, в невольный ущерб Белинскому, привел П. Н. Сакулин.

И как одну из типичных иллюстраций того рокового недоразумения, которое, в его фактической сути, заметили В. Г. Белинский

и П. Н. Сакулин и укреплению которого первый необычайно способствовал своим примером, я выпишу суждение г. Евг. Ляцкого из его статьи против меня: «Хотя я далеко не связываю поклонения г. Айхенвальда идеалу чистого искусства с равнодушием к той общественной атмосфере, среди которой этот культ является как бы синонимом удаления от шума житейской борьбы на горные вершины созерцания и воздыхания, тем не менее я беру на себя смелость утверждать, что между отрицанием триединой формулы у г. Айхенвальда и неприемлемостью для него “публицистических” стремлений Белинского есть нечто необъяснимое, недосказанное, быть может, даже... нечто недодуманное».

Действительно, здесь есть недодуманность, — но, кажется, не с моей стороны. Если я отрицаю «триединую формулу», то я обязан принять публицистическое отношение Белинского к искусству: вот та умственная узость, которой хотел бы от меня г. Ляцкий; ее отсутствие — вот что кажется ему чем-то необъяснимым и недодуманным. Что можно исповедовать политический либерализм и в то же время не требовать и не хотеть от искусства публицистики, этого не допускает г. Ляцкий. Что между равнодушием к общественности и любовью к «идеалу чистого искусства» (точно есть какое-нибудь другое) не существует внутренней и необходимой связи — эта азбука и до сих пор остается недоступной для обитателей идейной тесноты. И так как я безусловно не причисляю к ним Е. А. Ляцкого, то я и удивляюсь, как это он «берет на себя смелость» утверждать то, что утверждает.

Мои оппоненты страстно оспаривают и то мое указание, что Белинский не был последовательно либерален не только в том широком смысле, о котором я говорил выше, но и в специальной сфере общественности. На мои слова: «вопреки молодости, нарушая ее психологические нравы, он не с протеста, не с отрицания начал, а с политических утверждений»... и на другие мои слова: «при первом же своем серьезном выступлении, в знаменитых “Литературных мечтаниях”... в тяжелую и темную пору нашей жизни... юноша Белинский, не задумываясь, делается рапсодом» уваровской формулы, «знаменитых сановников», «просвещенного и благотельного правительства», — на это все критики, кроме г. Ляцкого, в один голос и прежде всего отзываются, что я забыл про «Дмитрия Калинина» (П. Н. Сакулин употребляет даже такое выражение, что я об этой драме и «не заикаюсь»). Н. Л. Бродский называет пьесу Белинского «пламенным памфлетом против “официальной” действительности»; г. Иванов-Разумник находит, что в «Дмитрии Калинине» Белинский выражает «самые “протестующие” взгляды»; критик «Русского богатства» (II, 1914 г.) г. А. Дерман мою мысль, что Белинский начал

с политических утверждений, тоже опровергает ссылкой на его трагедию и категорически осведомляет, что она «послужила причиной увольнения автора из университета».

Мне неизвестно, является ли по своей научной специальности историком литературы г. Дерман; если — нет, то вполне простительно, что он не читал или не запомнил такого ничтожного литературного памятника, как «Дмитрий Калинин», и с чужого голоса передает миф о причине увольнения Белинского из университета. Но мне хорошо известно, что как историки литературы достойно работают у нас в науке П. Н. Сакулин, Иванов-Разумник, Ч. В-ский, Н. Л. Бродский. И поэтому то, что *они* опираются в данном случае на «Дмитрия Калинина», удивляет меня и огорчает несказанно. Разберемся.

Н. Л. Бродский полагает, будто упрек в неупоминании «Дмитрия Калинина» я, быть может, попытаюсь отразить ссылкой на то, что не имел в виду чисто литературных произведений Белинского, а говорил о нем лишь как о критике. Этот мой возможный аргумент, по г. Бродскому, отпадает, так как в своем силуэте я касался-де Белинского целиком, — да так и надо делать: ведь не писал же я сам «только о стихотворениях Тютчева — указывал и на политические статьи его» (мимоходом исправлю фактическую ошибку моего рецензента: я не указывал на политические статьи Тютчева, а разбирал только *стихотворения* его, между прочим, и политические; таким образом, я не заслужил здесь, чтобы мне ставили в пример меня самого).

Почтенный критик не угадал, как я буду защищаться. Если бы я хотел прибегнуть под сень формальных доводов, я мог бы опереться на то, что в статье я говорил о «*политических* утверждениях», а все согласятся, что уж во всяком случае *политических* отрицаний в «Дмитрии Калинине» нет; что я говорил о «первом серьезном выступлении», — а все согласятся, что детский, ниже литературной критики стоящий, наивный «Дмитрий Калинин» несерьезен. Но я не прикрою себя этими соображениями, а напомним, что трагедия Белинского по существу, по своей идее и по своему центральному содержанию вовсе не представляет собою общественного протеста. Не в этом смысл пьесы, не в этом ее пафос, не этим она вооружила против себя цензоров. Там есть отдельные риторические филиппики против рабства, против помещичьей тирании, но самая сильная из них, слова Дмитрия: «Кто дал это гибельное право — одним людям поработать своей власти волю других, подобных им существ, отнимать у них священное сокровище — свободу? Кто позволил им ругаться правами природы и человечества? Господин может, для потехи или для рассеяния, содрать шкуру с своего раба; может продать его как скота, выменять на собаку, на лошадь, на корову, разлучить

его на всю жизнь с отцом, с матерью, с сестрами, с братьями и со всем, что для него мило и драгоценно!» ... — эта горячая отповедь героя сопровождается и охлаждается следующим примечанием Белинского: «К славе и чести нашего мудрого и попечительного правительства, подобные тиранства уже начинают совершенно истребляться. Оно поставляет для себя священнейшею обязанностью пецись о счастье каждого человека, вверенного его отеческому попечению, не различая ни лиц, ни состояний. Доказательством сего могут служить все его поступки и, между прочим, Указ о наказании купчихи Аносовой за тиранское обхождение со своею девкою и городничего за допущение одного, напечатанный в 77-м № “Московских ведомостей” за 1830 год, 24 день сентября. Этот указ должен быть напечатан в сердцах всех истинных россиян, умеющих ценить мудрые распоряжения своего правительства, напоминающие слова нашего знаменитого, незабвенного Фонвизина: “Где Государь мыслит, где знает Он, в чем его истинная слава, — там человечеству не могут не возвращаться права его; там все скоро ощутят, что каждый должен искать своего счастья и выгод в том, что законно, и что угнетать рабством себе подобных есть незаконно”».

Не только знаток, но и богомолец Белинского с его «великим сердцем», С. А. Венгеров, по-моему, совершенно прав, когда говорит об этом примечании, что «было бы величайшей ошибкой» думать, будто оно «есть лукавство и может быть приравнено к тем, мало кого вводившим в заблуждение примечаниям», которые в 60-х годах делали из цензурных соображений. К этому прибавляет г. Венгеров: «Белинский во всю свою жизнь не написал ни одного лукавого слова и славословил только тогда, когда весь был переполнен славословия». В 1831 году, утверждает наш комментатор, Белинский был «бесконечно-“благонамерен”, ультра-“благонамерен” и к общему строю русского государственного уклада относился с полным одобрением» (Сочинения Белинского, под ред. Венгерова, т. 1, стр. 129).

Примечание Белинского только подтверждает, что центр идейной тяжести в «Дмитрии Калинин» находится вовсе не в гражданском протесте. Средоточие пьесы — кровосмешение. Брат становится любовником сестры (неведомо для себя). Потом он убивает своего брата (тоже не зная, кто его жертва). Потом он убивает свою любовницу-сестру, по ее просьбе, чтобы ее не выдали замуж за другого. Потом, наконец, он убивает самого себя. Так не этот ли отталкивающий сюжет, не это ли ужасное кровосмешение и кровопролитие заставили московских профессоров (тогдашнюю цензуру) признать сочинение мальчика-студента «безнравственным, бесчестящим университет» (такими словами сам Белинский формулирует отзыв

своих судей)? И неужели последних не обезоружило бы примечание автора к тираде героя; неужели оно, наряду с другими штрихами, не показало бы им того, что впоследствии увидел историк литературы, т. е. что политически студент-трагик был «ультра-благонамерен», «бесконечно-благонамерен»? И разве нам известно, чтобы они, эти профессора, был такими завзятыми и злобными крепостниками, что для них невозможно было простить юноше того возмущения тиранством, которое, по его «искренним словам, всецело разделяло само «мудрое и попечительное правительство»? К тому же нападки против дикого обращения с крепостными не могли звучать, хотя бы после Фонвизина, возмутительной новостью и крамолой.

Белинский в предисловии к своей пьесе ни одним словом не намекает на ее общественный характер, и не слышится там даже более общий протест — против мировой несправедливости, против неба и религии. Нет, он написал свое произведение «из чистого, бескорыстного побуждения выразить этот внутренний мир самого себя, этот мир собственных мыслей и чувствований, возбуждаемых в нем созерцанием этой чудесной, гармонической, беспредельной вселенной, в которой он обитает, назначением, судьбою человека, сознанием его нравственного величия».

Эпиграфом к пьесе автор выбирает стихи Пушкина: «и всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет», — и этим тоже ответственность за несчастья героя определенно перелагает с России на судьбу и роковые страсти.

Когда Дмитрий, исповедуясь своему другу Сурскому, рассказывает, что он овладел Софьей без венчания, так как не «согласие родителей» и «пустые обряды», а «одна только природа соединяет людей узами любви», то Сурский этим глубоко возмущается, признает его поступок «гнусным», называет Калинина «обольстителем, нарушителем чести», считает его «злодеем, подлецом» (хотя и неумышленным), убеждает его, что он должен был побороть свою страсть, отказаться от Софьи, идти в военную службу, «в коей или пал бы на поле брани, как следует истинному сыну отечества, и вместе с горестною жизнью окончил бы и мучения свои, или бы отличился храбростью, покрыл себя славою, приобрел чины, достоинства и титула, которые столько уважаются всеми». «Кто тебе дал право, — вопрошает Сурский, — назвать Софью своею женою без приличных и необходимых для сего обрядов?» И что же? Все эти благонамеренные речи очень скоро, в продолжение того же диалога, вполне убеждают Дмитрия; он отказывается от своего пренебрежения к обрядам, от владевшего им только что сознания своей правоты (как это характерно для будущего Белинского!). «Торжествуй: ты прав! ты прав! Но для чего ты откры-

ваешь мне глаза!» — восклицает наш герой с открытыми глазами. Точно так же если в пьесе прозвучит иногда как бы кощунственная нота («А Ты, Существо Всевышнее, скажи мне: насытилось ли моими страданиями, натешилось ли моими муками?..»), то и герой в испуге и ужасе перебивает самого себя, свою дерзкую речь и тут же кается, и сам автор немедленно принимает свои меры и к словам, похожим на хулу, делает примечание, искренне защищающее чистые струи религии и нравственности.

Вообще, Белинский в своей трагедии, как и во всей своей дальнейшей литературной деятельности, каждому яду готовит противоядие, каждой речи — противоречие, нейтрализует самого себя и вырывает жало у своих отрицаний. Это с его стороны совсем не умысел — это его мышление.

Таким образом, невинное негодование Дмитрия против рабства и тирании, его горячность, его последний клик: «Свободным жил я, свободным и умру» — все это ни в каком случае не может быть понято в смысле определенного протеста, и если, например, г. Бродский (на 29-й стр. своей статьи-брошюры) находит несовместимым исповедание формулы: «православие, самодержавие и народность» с содержанием «Дмитрия Калинина», то это — простое недоразумение, которое сейчас же рассеется, если «Дмитрия Калинина» прочесть. Скорее триединый символ этой веры берется там под защиту. Как произведение гражданственного характера, пьеса Белинского, по меньшей мере, бесцветна и безразлична; и показательны в этом отношении слова Дмитрия, что Софья «в одно и то же время трепетала при имени Брута, как великого мученика свободы, как добродетельного самоубийцы, и при имени Сусанина, запечатлевшего своею кровью верность царю»; а Софья в свою очередь говорит, что лицо Дмитрия пылало и глаза его сверкали, когда он читал о защитниках свободы и о Сусанине, который «жертвовал за царя своею жизнью»! Того, кто писал такие строки, профессорская цензура обвинить в политической неблагонадежности не могла, и я повторяю, что в пьесе юноши должны были цензоров смутить и возмутить совсем другие мотивы, именно — те, которые были признаны безнравственными; и поскольку тему о нечаянном, правда, кровосмешении брата и сестры можно считать безнравственной, постольку цензоры были правы.

Так вот причины, по которым я при оценке общественности Белинского считал возможным не принимать в расчет «Дмитрия Калинина», где обе чаши гражданственных весов приведены в равновесие.

Да и где же, наконец, объективные основания, которые позволяли бы утверждать, как это делают гг. Дерман и Иванов-Разумник, что Белинский был уволен из университета за свою пьесу, что он

«поплатился» за нее? Ведь сам Белинский пишет своим родителям, что хотя о «Дмитрии Калинин» «составили журнал, но после это дело уничтожено» и ректор сказал ему, бедному автору, что о нем «ежемесячно будут ему подаваться особенные донесения». *Дело уничтожено*. В письме к матери так о своем увольнении сообщает наш юный трагик: «Я не буду говорить вам о причинах моего выключения из университета: отчасти собственные промахи и нерадение, а более всего долговременная болезнь и подлость одного толстого превосходительства». Впоследствии, в письмах к разным корреспондентам, Белинский тоже ни разу, говоря о своем увольнении, не ссылается на «Дмитрия Калинина» как на причину университетской катастрофы: «А я так и просто был выгнан из университета за леность и неуспехи» (Белинский. Письма, 1914 г., 1, стр. 87); «выгнанный из университета за леность студент» (Письма, 1. стр. 345).

Инспектор и профессор Московского университета Щепкин, которого мы не имеем права подозревать в недобросовестности, доносит помощнику попечителя, «представляет во внимание его превосходительства», что «Белинский, сам чувствуя свое бессилие для продолжения наук, просил, в 1831 году, уволить его от университета и определить в канцелярские служители», но что следовало бы, не исполняя этой просьбы, совсем «уволить его от университета по слабому здоровью и притом по ограниченности способностей». Если бы у Щепкина были другие основания, если бы он имел в виду неблагонамеренность Белинского, проявленную им будто бы в «Дмитрии Калинин», то из-за чего же инспектор об этом умолчал бы и что же помешало бы ему в официальной и, вероятно, конфиденциальной бумаге поддержать свое ходатайство об увольнении студента ссылкой на его политическую неблагонамеренность, «представить о сем во внимание его превосходительства»? Разве такого рода аргументы не являются для их превосходительств самыми убедительными и решающими?

Правда, А. П. Пыпин свидетельствует, что, по всем отзывам, какие ему приходилось читать и слышать, трагедия сыграла свою «положительную роль в исключении Белинского из университета».

Таким образом, самое большое, что может иной предположить, только предположить, это — что, по слухам, «Дмитрий Калинин» известную роль в увольнении Белинского сыграл. Но как это далеко от категоричности гг. Дермана и Иванова-Разумника! И я лично, пока мне не представят фактов, что причина или что даже одна из причин увольнения Белинского — «Дмитрий Калинин», имею право в это не верить, и этим правом я пользуюсь.

Я так задержался на вопросе о «Дмитрии Калинин» не только ради необходимой самообороны, но и для того, чтобы на этом при-

мере показать, как неосновательно приписывают Белинскому «самые “протестующие” взгляды» (выражение г. Иванова-Разумника), как неточно рассказывают его биографию и как вообще создается то, что я назвал легендой о Белинском.

* * *

В подтверждение своего взгляда, что либерализм Белинского, как и все его мировоззрение, отличается большой неустойчивостью, я, между прочим, указал на ту его страницу (отзыв о IV книге «Сельского чтения»), где он, после знаменитого письма к Гоголю, в 1848 году, опять славит «благотворное» влияние «просвещенного» русского правительства и «в отношении к внутреннему развитию России» считает царствование своего государя «самым замечательным после царствования Петра Великого».

Г. Евг. Ляцкий фактически неверно утверждает, будто я свое мнение о сочувственной поддержке Белинским русским шовинизма и официальных канонов обосновываю на этой «одной фразе», «придравшись» к ней: здесь мой рецензент просто невнимательно прочитал меня; и оттого, поблагодарив г. Ляцкого за выраженную им уверенность, что я только «не разобрался» в «эзоповском» стиле Белинского, а не допустил «заведомой подмены одного понимания другим», поблагодарив его за этот великодушный отказ от обвинения меня в подлоге, я в данном пункте спорить с ним не буду, а выясню намеченный вопрос по рецензиям гг. Ч. В-ского и Бродского. Впрочем, и г. Бродский не прибавляет ничего нового сравнительно с тем, что говорит об этом г. В-ский, и оттого я позволю себе ограничиться ответом только последнему.

А г. Ч. В-ский говорит, что моя ссылка на приведенные слова Белинского — «злостный попрек» и что, в противность моему «ядовитому подчеркиванию», «никакого этического противоречия» между письмом к Гоголю и отзывом о «Сельском чтении» нет. По существу, г. Ч. В-ский выясняет, что поразившие меня слова Белинского получают в контексте его статьи иной характер: они вызваны-де слухами о предстоявшем освобождении крестьян, о знаках внимания со стороны Николая I министру государственных имуществ гр. Киселеву, стороннику эмансипации, и написаны, по-видимому, как и весь отзыв, «лишь ради радостного намека» на ожидавшуюся реформу. А если бы не так, то, очевидно, г. Ч. В-ский согласился бы со мною в оценке этих строк Белинского: ведь мой оппонент и сам замечает, что «после революционного, если угодно, письма к Гоголю» прославление в печати самодержавия было бы непоследовательно: «Подумаешь, действительно, какая отталкивающая неустойчивость!»

Г. Ч. В-ский защищает Белинского от того, в чем я даже его не обвинял, и потому бьет мимо цели. Я ни словом, ни намеком, ни попреком не указывал на *этическое* противоречие между письмом к Гоголю и рецензией на «Сельское чтение»; к яду, иронии, злости и прочим страстям вовсе я и не должен был прибегать для выражения той простой и прямой мысли, какую я высказал. А высказал я то, что Белинский свои прежние охранительные мотивы сменил затем, особенно в письме к Гоголю, совершенно другими звуками, «страстной лирикой трибуна», но что ни в каком случае нельзя поручиться, чтобы она была у него окончательной, и недаром уже после этой лирики он опять славил «благотворное» влияние «просвещенного» русского правительства и т. д. Как я думал и думаю, что Белинский вообще ненадежен, так, на почве моего общего изучения и понимания его деятельности, я и по этому поводу выразился в том же духе — именно, что нельзя ручаться за прочность его радикализма, и в одно из подтверждений своей мысли привел упомянутую цитату. Если революционер убежденно обращается в монархиста, то ничего *этически* дурного я в таком обращении не вижу и в этом не стал бы упрекать Белинского. Мне нужно было, повторяю, иллюстрировать только его характерную шаткость. И вот она опровергается ли соображениями г. В-ского?

Я понимаю, отчего последний зальцбрунское письмо к Гоголю называет «революционным, если угодно». Оно, действительно, не совсем революционно. Наряду с такими тирадами, которые этого определения вполне заслуживают, там, согласно обычной невыдержанности и чересполосности Белинского, есть места, удивляющие своей неприятной умеренностью. Так, *pia desideria*⁷ нашего критика-публициста — это, между прочим, дважды высказанное пожелание, чтобы законы строго исполнялись «по возможности». Так, перечисляя «самые живые, современные вопросы в России», Белинский называет среди них «*ослабление* телесного наказания». Согласитесь, что это далеко от максимализма... *

* Правда, у Венгерова и Ляцкого читается «отменение телесного наказания». Г. Ляцкий в примечании к III тому «Писем» Белинского (с. 377) говорит, что здесь существуют разночтения: *ослабление, уничтожение и отменение* — и что «установить подлинный текст пока не представляется еще возможным». Г. же Венгеров в книге о Гоголе разрубает гордиев узел риторическим вопросом: «Вероятно ли, чтобы Белинский требовал только “ослабления”, а не “отменения телесного наказания?”» На этом прочном основании С. А. Венгеров ставит «отменение», хотя в копии Краевского, особенную достоверность которой признает сам С. А., мы читаем: «ослабление». Я же считаю вполне убедительными те соображения, которые по этому поводу высказывает г. П. И. Вишнеvский в своей

В общем, тем не менее письмо к Гоголю революционно, — пользуюсь разрешением г. Ч. В-ского: мне это угодно признать. Но именно потому свидетельством неустойчивости Белинского я и считаю отзыв о «Сельском чтении». Слухи об освобождении крестьян, учреждение министерства государственных имуществ, внимание, оказанное Государем Киселеву (об этом так пишет Белинский в том письме к Анненкову, на которое ссылается г. В-ский: «Недавно Государь Император был в Александринском театре с Киселевым и оттуда взял его с собою к себе пить чай: факт, прямо относящийся к освобождению крестьян»), — все это, я согласен, могло повлиять на Белинского, но это не могло бы поколебать его, если бы он действительно был убежденным революционером или радикалом. Находить в 1848 году Николая I одним из «достойных потомков великого предка», «Моисея», т. е. Петра Великого; утверждать, что «с тех пор до сей минуты» Россия шла по мирному пути цивилизации; говорить вообще таким тоном — неужели все это (даже принимая во внимание, с одной стороны, цензуру, а с другой — слухи об эмансипации) является внутренним и органическим продолжением письма к Гоголю? Не исчезло ли куда-то революционное отношение к русскому самодержавию и не осталась ли зато неизменной поражающая изменчивость Белинского?..

Для меня в этом смысле очень показателен и тот факт, что тоже *после* письма к Гоголю, уже несколько месяцев спустя, Белинский в названном выше письме к Анненкову выражается так: «Вера делает чудеса — творит людей из ослов и дубин, стало быть, она может и из Шевченки сделать, пожалуй, мученика свободы. Но здравый смысл в Шевченке должен видеть осла, дурака и пошлеца, а сверх того, горького пьяницу, любителя горилки по патриотизму хохлацкому. Этот хохлацкий радикал написал два пасквиля, один на Государя

упомянутой выше книжке «Н. В. Гоголь и В. Г. Белинский». Там, на с. 114, он отмечает, что не только в копии Краевского, хранящейся в Императорской публичной библиотеке, но и в самой ранней редакции письма, как оно напечатано в «Полярной звезде» Герцена, который непосредственно от Белинского выслушал черновик зальцбруннского послания, — значится «ослабление». «Уничтожением» или «отменением» впервые заменил это неприятное слово Пыпин (в 1876 г.), и получилось, как справедливо указывает г. Вишнеvский, «нечто не совсем складное»: если бы Белинский имел в виду уничтожение телесного наказания, то вместо повторения одного и того же слова он просто между словами «уничтожение крепостного права» и словами «телесного наказания» поставил бы и; или он употребил бы «более выразительное» и более употребительное, чем «отменение», слово «отмена». «Употребив выражение “ослабление”, Белинский сказал то, что сказал»⁸.

Не совершена ли здесь в самом деле некая *ria fraus*? (Благочестивый обман, «святая ложь» (лат.) — *Примеч. ред.*)

Императора, другой на Государыню Императрицу. Читая пасквиль на себя, Государь хохотал, и, вероятно, дело тем и кончилось бы и дурак не пострадал бы за то только, что он глуп. Но когда Государь прочел пасквиль на Императрицу, то пришел в великий гнев. И это понятно, когда сообразите, в чем состоит славянское остроумие, когда оно устремляется на женщину... Шевченку послали на Кавказ солдатом. Мне не жаль его: будь я его судьей, я сделал бы не меньше. Я питаю личную вражду к такого рода либералам. Это — враги всякого успеха. Своими дерзкими глупостями они раздражают правительство, делают его подозрительным, готовым видеть бунт там, где ровно ничего нет, и вызывают меры крутые и губительные для литературы и просвещения... Вот что делают эти скоты, безмозглые либералишки. Ох, эти мне хохлы! Ведь бараны — а либеральничают во имя галушек и вареников с свиным салом! И вот теперь писать ничего нельзя — все марают. А с другой стороны, как и жаловаться на правительство? Какое же правительство позволит печатно проповедовать отторжение от него области?» (Письма, III, 318–320).

Я лично вполне соглашаюсь со взглядом Белинского на пасквили и с тем, что иные либералы мешают либерализму*; но дело не в этом, а в том, что между письмом к Гоголю и письмом к Анненкову — очень большая разница и она тоже позволяет мне «страстную лирику трибуна», которую я услышал в первом письме, не считать со стороны Белинского окончательной и надежной.

По верному слову П. Н. Сакулина. я признаю Белинского «либералом весьма сомнительного свойства». Но это мое мнение все критики отвергают. Особенно Н. Л. Бродский. Казалось бы, ни в чем так не постоянен знаменитый критик, ни в чем он так не верен самому себе (насколько вообще можно говорить о постоянстве Белинского), как в своих политических воззрениях: единая яркая нить консерватизма проходит и через то, что он писал в 1831 году, и через то, что он писал в 1834 году, и через то, что он писал в 1837, 1839, 1843, 1846, 1848 годах. Но все это не убеждает Н. Л. Бродского, и он не считает Белинского в общественном смысле консервативным. В частности, по поводу «Литературных мечтаний» г. Бродский замечает, что я «напрасно киваю» на их последнюю страницу (ту, которая звучит сплошным панегириком и «царю-отцу», и «чадолюбивым монархам», и «мудрому правительству», и «благородному дворянству»,

* Еще и такую характеристику либералам дает Белинский: «Все наши либералы — ужасные подлецы: они не умеют быть подданными, они холопы: за углом любят побранить правительство, а в лицо подличают не по нужде, а по собственной охоте» (Письма, II, 44).

и «знаменитым сановникам», являющимся посреди любознательного юношества в центральном храме русского просвещения возвещать ему священную волю монарха, указывать путь к просвещению в духе «православия, самодержавия и народности»): «еще С. А. Венгеров высказал догадку, что к ней приложил руку редактор Надеждин».

Во-первых, я на эту страницу, которую оба комментатора хотели бы вырвать из собственной книги Белинского, не «киваю», а без лукавства, прямо и определенно ее называю и цитирую; во-вторых, догадка г. Венгерова, к которой присоединяется и г. Бродский, столько же произвольна, сколько и праздна. Задаваться вопросом о том, как подобная страница попала к Белинскому, было бы уместно лишь в том случае, если бы в тексте его сочинений и писем она была инородным телом, если бы она противоречила другим его изъяснениям. Но ведь мы знаем, что и после, и раньше (в «Дмитрии Калинин») Белинский писал то же самое, высказывался в том же духе. Например, в письме 1837 года из Пятигорска к Д. П. Иванову (письме, которое я отчасти цитировал и в своем силуэте) совершенно же определенно славит Белинский русское правительство и поучает своего адресата, что «политика у нас в России не имеет смысла и ею могут заниматься только пустые головы»; что «Россия — еще дитя, для которого нужна нянька, в груди которой билось бы сердце, полное любви к своему питомцу, а в руке которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости»; что «дать России в теперешнем ее состоянии конституцию — значит погубить Россию»; что «не в парламент пошел бы освобожденный русский народ, а в кабак побежал бы он, пить вино, бить стекла и вешать дворян, которые бреют бороду и ходят в сюртуках, а не в зипунах»; что у нас «все идет к лучшему» и причиною этому «установление общественного мнения... и, может быть, еще более того самодержавная власть», которая «дает нам полную свободу думать и мыслить, но ограничивает свободу громко говорить и вмешиваться в ее дела»; что блюсти цензуру и не допускать перевода некоторых иностранных книг — «это хорошо и законно с ее стороны, потому что то, что можешь знать ты, не должен знать мужик»: что если «правительство позволяет нам выписывать из-за границы все, что производит германская мыслительность, самая свободная, и не позволяет выписывать политических книг», то «эта мера превосходна и похвальна» (Письма, I, 91–94).

Что же, или это письмо Белинского писал не Белинский, а кто-нибудь другой? Не построят ли наши ученые какой-либо «догадки» в этом направлении? Хорошо бы только обосновать ее во всяком случае не так, как это делает г. Бродский: предположение о принадлежности конца «Литературных мечтаний» не Белинскому, а Надеждину он находит «вполне возможным», потому что в это время

кружок Станкевича, где вращался автор «Литературных мечтаний», «отрицательно относился к квасному патриотизму» и, значит, если Белинский был «рупором кружка», он не мог быть «рапсодом формулы: “православие, самодержавие, народность”»... Эта аргументация была бы неотразимо-блестящей, но горе в том, что ведь это я, только я, считаю Белинского «рупором кружка», а не г. Бродский! Ведь последний, наоборот, пламенно выступал против этих слов моих и всеми силами защищал самостоятельность нашего критика. А теперь, забыв про это, он утверждает, что известных мыслей у Белинского не могло быть, так как-де их не мыслил кружок Белинского! Из кружка в порочный круг безвыходно попал здесь Н. Л. Бродский. И к этому его привело желание во что бы то ни стало признать Белинского либералом, т. е. прочесть то, чего последний не писал, и не читать того, что он написал всеми буквами, явственно и несомнительно.

По своему обыкновению, г. Бродский для большей верности опирается и на авторитеты, подтверждающие либеральность Белинского: он называет Герцена, Некрасова, Салтыкова — и, в другой плоскости, даже коменданта Петропавловской крепости и Дубельта, которые недаром же поджидали Белинского в «тепленький каземат» и жалели, что смерть освободила его от тюрьмы.

Мое упорное нежелание считаться с авторитетами остается в силе. К тому же коменданта Скобелева и Дубельта я даже не признаю в данном вопросе компетентными: я думаю, что III Отделение не всегда было право, что Дубельт иногда ошибался, что у русского правительства, как у страха, были глаза велики. И неужто в самом деле статьи Белинского, даже если стоять на официальной точке зрения, справедливо «считались опасными, вредными»? Разве это не было одним из обычных недоразумений нашего строя? О письме к Гоголю я не говорю, — но ведь и в своем силуэте я признал его, наряду с некоторыми другими письмами, исключением из общего политического правила у Белинского.

Одним из наиболее частых укоров, предъявляемых ко мне обычно, а за силуэт Белинского в особенности, это то, что я лишен чувства исторической перспективы; как мило шутит П. Н. Сакулин, на моем рабочем столе в граненом хрустальном флаконе стоит какой-то «реактив на вечность». Вообще, о моем эстетизме много говорят мои оппоненты, попрекают меня им, и о методе имманентной критики, который я защищаю и который берет у писателя то, что писатель дает, они отзываются с убийственной насмешкой. Я не буду здесь касаться этих обвинений в их общей форме (тем более что конкретно ни один из моих рецензентов ни в одной ошибке против историчности меня не уличил), а рассмотрю

этот пункт только в применении к моей характеристике Белинского. И так как упрек в антиисторизме преимущественно выдвигает против меня критик «Русского богатства» г. Л. Дерман, то я по данному вопросу остановлюсь главным образом на его статье. Но чтобы уже не возвращаться к г. Дерману, я по дороге сделаю попытку опрокинуть и другие его сооружения, воздвигнутые против меня.

Первое впечатление, какое он вынес от моего очерка, это — «отсутствие скромности». Моя фраза: «То представление, какое получаешь о Белинском из чужих прославляющих уст, в значительной степени рушится, когдаходишь к его книгам непосредственно», — эта фраза истолковывается моим рецензентом так, что, по-моему-де, либо никто до меня не подходил к книгам Белинского, либо, «подойдя к ним и разрушив легенду в сердце своем, не нашел в себе мужества открыто об этом заявить».

Упреком в нескромности жестокий г. Дерман ставит меня в очень щекотливое положение: ведь если я, в ответ ему, стану доказывать свою скромность, я тем самым ее потеряю, не правда ли?.. Но делать нечего. Я должен напомнить г. Дерману, что есть *pluralis majestatis* и есть *pluralis madestiae*⁹. То множественное число, которое заключается в моих обобщающих безличных выражениях «получаешь» и «подходишь», это, конечно, *pluralis* второй категории. По существу, я говорю о себе, только о себе, о своем субъективном впечатлении; но чтобы свою личность не выдвигать, я и употребил форму безличную. Мне именно казалось, что так будет скромнее, — а вот подите ж! Своей шапкой-невидимкой я не боялся ввести кого-либо из сведущих людей в заблуждение, потому что однажды навсегда заявил о субъективности своих силуэтов и в предисловии к ним постарался даже ее принципиально обосновать. Этот мой субъективизм, этот мой импрессионизм как раз и служит основной мишенью для нападков на меня со стороны моих критиков; как раз потому они и находят мои взгляды необязательными (с чем согласен и я). А вообще иметь свои взгляды, в частности на Белинского, этого, я понимаю, не признает нескромностью и г. Дерман. Иначе идеалом скромности надо было бы считать Молчалина, который думал, что ему не должно сметь свое суждение иметь.

В скобках замечу, что не только г. Дерман, но и г. Иванов-Разумник забыл о субъективном характере моих характеристик. В самом деле, отбрасывая не только мою оценку Белинского, но и в связи с нею мой метод вообще, г. Иванов-Разумник именуется последний «историко-литературным», утверждает, что сам я «в особой статье» познакомил читателей с этим своим «методом», и выясняет, «в чем слабость “историко-литературного метода” г. Ю. Айхенвальда».

Для меня загадка, почему слова «историко-литературный» г. Иванов, будто цитируя, упорно замыкает в кавычки и почему он ссылается на мою «особую статью», где я знакоблю якобы с «этим своим методом». Разве я в этой статье, которую читал же, конечно, г. Иванов-Разумник, коль скоро он на нее опирается, — разве я там или где-нибудь в другом месте называю и признаю свой метод «историко-литературным»? Разве в этой статье, наоборот, я своего метода не отмежевываю от историко-литературного? Разве суть и ересь ее не заключается именно в том, что я историко-литературный метод отвергаю? Какое же право имеет г. Иванов на кавычки? Или это ирония? Тогда над кем, над чем? Иронизировать над «историко-литературностью» моего метода, очевидно, можно было бы лишь в том случае, если бы я или кто-нибудь другой считал и называл его историко-литературным. И когда г. Иванов-Разумник провозглашает, что «критическая манера не есть историко-литературный метод», то ведь этим он меня не уничтожает, а меня, мою же главную мысль альтруистически поддерживает. Зачем же он с такими усилиями ломится в ту дверь, которую я сам широко раскрыл? Это с его стороны неэкономно и знаменует полную победу не надо мною, а над здравым смыслом.

Итак, г. А. Дерман осуждает меня за несоблюдение исторической перспективы. Мои указания на то, что Белинский не понял Баратынского, недооценил Пушкина, не принял Татьяны, г. Дерман признает «чудовищным непониманием сущности критики»; он видит в них требование с моей стороны, чтобы «Белинский знал не меньше того, что теперь известно» мне. И эти «упреки» мои «равносильны тому, как если бы нынче гимназист VI класса принялся укорять Аристотеля: — Как же это вы, милостивый государь, позволили себе утверждать, что природа боится пустоты? Стыдно-с! Давление воздуха, а «не боится пустоты»!

Простим тон этой пошлой буффонады, развязность этого «милостивого государя» и вникнем в дело по существу. Если бы мои ожидания от Белинского взаправду были «равносильны» требованию, чтобы Аристотель обладал научными знаниями XX столетия, то это свидетельствовало бы о такой моей непроходимой глупости, что непроходимой глупостью было бы спорить со мною. Ведь только глупец оспаривает глупца. К счастью для нас с г. Дерманом, положение вещей не таково. Я, прежде всего, спрашиваю с Белинского не фактических знаний, а вкуса и оценки. И, затем, я их спрашиваю именно в пределах его эпохи, по мере исторической возможности. Разве, действительно, в то время, когда жили Пушкин и Баратынский, исторически невозможно было их понять и оценить? Разве не было тогда людей, которые принимали и Татьяну, и мудрость Баратынского, и многое

другое, чего не принял Белинский? Я даже не думаю, что для этого надо было быть великим человеком; но, уж во всяком случае, те, которые считают Белинского великим критиком, гениальным критиком, которые безвкусно называют его «великий критик земли русской», — уж они-то наверное не имеют права его ошибки оправдывать ссылкой на его время: ведь тем-то великий и велик, что он больше своих современников. Если Белинский — только сын своей эпохи, рядовой представитель ее, страдающий ее естественной близорукостью, то за что же его так увенчивать? Недаром его панегиристы, противореча строгости своего же историзма, часто указывают, что Белинский стоял именно впереди своего времени. Так, сам г. Дерман, защищающий Белинского и Аристотеля от антиисторичных нападок моих и родственного мне по уму гимназиста VI класса, восторженно отмечает «поистине пророческую гениальность в таком чуде критического прозрения Белинского, как предсказание славы Достоевскому по его первой повести», чуждой в своем стиле господствовавшим формам. Что же, можно, значит, пророчески упреждать историю, гениальной мыслью преодолевать ее рамки, совершать «чудеса критического прозрения»?

Правда, выбранная г. Дерманом иллюстрация к этому тезису крайне неудачна и говорит не за Белинского, а против него. Во-первых, г. Дерман, раз уж он принял любезное участие в специальном споре, должен бы знать (или помнить), что Достоевского открыли Григорович и Некрасов, а не Белинский: это они, очарованные повестью юного автора, в памятную русской литературе белую майскую ночь прибежали к Достоевскому со словами восторга; это Некрасов принес Белинскому рукопись «Бедных людей» и «закричал»: «Новый Гоголь родился!», на что знаменитый критик «строго» ответил: «У вас Гоголи-то как грибы растут», — и лишь после этого, прочитав рукопись, он и сам пришел в волнение и восхищение. Во-вторых, г. Дерман должен бы знать (или помнить), что *в печати* Белинский дал о «Бедных людях» довольно умеренный отзыв, совсем не такой, как в устной беседе с Достоевским. В-третьих, г. Дерман должен бы знать (или помнить), что Белинский со свойственной ему шаткостью от своей высокой оценки Достоевского скоро отказался, в ней раскаялся и за нее назвал себя «ослом»; вот что писал он Анненкову: «Он (Достоевский) и еще кое-что написал после того, каждое его произведение — новое падение. В провинции его терпеть не могут, в столице отзываются враждебно даже о «Бедных людях». Я трепещу при мысли перечитать их, так легко читаются они! Надулись же вы, друг мой, с Достоевским-гением! О Тургеневе не говорю — он тут был самим собою, а уж обо мне, старом черте, без палки нечего и толковать. Я, первый критик,

разыграл тут осла в квадрате» (Письма. III, 338). Это его последнее слово о Достоевском (как и все это письмо, к несчастью, одно из последних предсмертных слов Белинского). Где же здесь гениальность, где же пророчество, где критическое чудо?

В своей работе я, по г. Дерману, «натворил нечто невообразимое»; грех против элементарного историзма, даже «комическую наивность» он усматривает, например, в таких строках моей статьи: «Если Белинский — энтузиаст, то почему же, смущенно спрашиваешь себя, у него так много риторики, и гуслирного звона, и раскрашенного стиля?.. Почему свою увлеченность он выражает не в задушевной и дорогой простоте, почему о любимом он говорит неестественно?» На все эти вопросы мои г. Дерману просто «совестно отвечать», так как, если бы свою совестливость он преодолел, то ответы заключались бы в «азбучно-элементарных указаниях на то, что риторическое для наших дней было абсолютно адекватно энтузиазму Белинского 75 лет назад», что «тогда не было и быть не могло “дорогой простоты” стиля Чехова», что Белинский не мог же писать «языком Бориса Зайцева».

Вы видите, историзм отплатил своему бескорыстному ревнителю черной неблагодарностью: г. Дерман не долго думая (именно потому, что не долго думая) впадает в такую историческую ошибку, которая была бы чудовищна, если бы она не была смешна. Справедливо полагая, что Белинский не мог дожидаться Чехова и Зайцева, мой рецензент забывает только... о Пушкине. Я, обвиняемый в антиисторизме, знаю, однако, историю, помню хронологию и отдаю себе ясный отчет в том, что во времена Белинского и до него был уже Пушкин, который свою прозрачную прозу, свои рассказы и критические статьи запечатлел хрустальной простотой, выражал свой энтузиазм, африканскую огненность своей природы без риторики и над всякой риторикой от души смеялся; я, осуждаемый за пренебрежение к исторической перспективе, не упускаю из виду, что естественному стилю Белинский мог учиться не только у Пушкина, но даже у некоторых своих предшественников, например у Киреевского, очень далекого от напыщенности «Литературных мечтаний», я, словом, все это и многое другое учитываю, а защитник перспективы, друг истории, этим пренебрегает и, как цитированный им гимназист VI класса, в своем упрощенном понимании историзма констатирует лишь то несомненное, что современниками Белинского не были Чехов и Зайцев.

Не было бы греха и в том, если бы г. Дерман знал (или помнил), что в риторизме обвинял Белинского сам Белинский, что, по его собственному признанию, риторикой возмещал он недостававший ему пафос; вот что пишет он Боткину: «Мне нужно то, в чем видно состояние духа человека, когда он захлебывается волнами трепет-